

Курт Воннегут

ПЮРОЖДЕНИЕ ТЬМЫ НОЧНОЙ



- [КУРТ ВОННЕГУТ-мл.](#)
 -
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [От редактора:](#)
 - [ПРИЗНАНИЯ ГОВАРДА У. КЭМПБЕЛЛА-МЛАДШЕГО](#)
 - [1: ТИГЛАТПАЛАСАР ТРЕТИЙ](#)
 - [2: ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ](#)
 - [3: БРИКЕТЫ...](#)
 - [4. КОЖАНЫЕ РЕМНИ...](#)
 - [5: «ПОСЛЕДНЕЙ ПОЛНОЙ МЕРОЙ...»](#)
 - [6: ЧИСТИЛИЩЕ...](#)
 - [7: АВТОБИОГРАФИЯ...](#)
 - [8: AUF WIEDERSEHEN...](#)
 - [9: ТЕ ЖЕ И ГОЛУБАЯ ФЕЯ-КРЕСТНАЯ...](#)
 - [10: РОМАНТИКА...](#)
 - [11: ИЗЛИШКИ ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА...](#)
 - [12: СТРАННЫЕ ПОСЛАНИЯ В МОЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ:](#)
 - [13: ПРЕПОДОБНЫЙ ЛАЙОНЕЛ ДЖЭСОН ДЭВИД ДЖОУНЗ, ДОКТОР БОГОСЛОВИЯ И МЕДИЦИНЫ...](#)
 - [14. ВИД С ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ...](#)
 - [15: МАШИНА ВРЕМЕНИ...](#)
 - [16: ХОРОШО СОХРАНИВШАЯСЯ ЖЕНЩИНА...](#)
 - [17: АВГУСТ КРАППТАУЭР УХОДИТ В ВАЛЬГАЛЛУ...](#)
 - [18: ПРЕКРАСНАЯ ГОЛУБАЯ ВАЗА ВЕРНЕРА НОТА...](#)
 - [19: МАЛЕНЬКАЯ РЕЗИ НОТ...](#)
 - [20: ЖЕНЩИНЫ ВЕШАЮТ ВЕШАТЕЛЯ БЕРЛИНА:](#)
 - [21: МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ...](#)
 - [22: СОДЕРЖИМОЕ СТАРОГО СУНДУКА...](#)
 - [23. ГЛАВА ШЕСТЬСОТ СОРОК ТРЕТЬЯ...](#)
 - [24: КАЗАНОВА-МНОГОЛЮБ...](#)
 - [25: ОТВЕТ КОММУНИЗМУ:](#)
 - [28: В КОТОРОЙ УВЕКОВЕЧИВАЕТСЯ ПАМЯТЬ РЯДОВОГО ИРВИНГА БАКЭНОНА И КОЕ-КОГО ЕЩЕ](#)
 - [27: ХРАНИТЕЛИ ОГНЯ:](#)
 - [28: МИШЕНЬ...](#)
 - [29: АДЛЬФ ЭЙХМАН И Я...](#)
 - [30: ДОН КИХОТ...](#)

- [31: «НО ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ...»](#)
- [32: РОЗЕНФЕЛЬД...](#)
- [33: КОММУНИЗМ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ...](#)
- [34: ALLES KARUT...](#)
- [35: СОРОК РУБЛЕЙ СВЕРХУ...](#)
- [36: ВСЕ, КРОМЕ ВИЗГА...](#)
- [37: СТАРОЕ ЗЛАТОЕ ПРАВИЛО...](#)
- [38: О, СЛАДОСТЬ ТАЙНЫ БЫТИЯ...](#)
- [39: РЕЗИ НОТ ОТКЛАНИВАЕТСЯ...](#)
- [40: ВНОВЬ СВОБОДА...](#)
- [41: ХИМИКАЛИИ...](#)
- [42: НИ ГОЛУБЯ, НИ ЗАВЕТА...](#)
- [43: СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ И ДРАКОН...](#)
- [44: «КАМ-БУУ...»](#)
- [45: ЧЕРЕПАХА И ЗАЯЦ...](#)

- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
-

КУРТ ВОННЕГУТ-мл. ПОРОЖДЕНИЕ ТЬМЫ НОЧНОЙ

Посвящается Мате Хари

KURT VONNEGUT, Jr

MOTHER NIGHT

Перевод с английского и составление серии Ю. А. ЗАРАХОВИЧА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это — единственная моя книга, мораль которой мне ясна. Не Бог весть какая мораль, зато ясна: мы есть то, чем притворяемся, так что притворяться следует весьма осмотрительно.

Самому мне с нацистскими штучками особенно тесно сталкиваться не приходилось. В тридцатых в моем родном Индианаполисе всплыла кучка гнусных горлопанов — доморощенных американских фашистов, да, помнится, кто-то подсунул мне экземпляр «Протоколов Сионских мудрецов» — якобы тайного еврейского плана установления мирового господства. И еще, помнится, посмеивались мы над моей тетушкой, вышедшей замуж за *немецкого* немца — пришлось ей писать в Индианаполис с просьбой выслать документы, подтверждающие, что в ее жилах не течет еврейская кровь. Мэр города, знавший тетушку со школьной скамьи и танцевального класса, от души поразвлекался, изукрасив затребованные немцами справки официальными печатями где только мог и обвешав их лентами так, что они походили на грамоты мирных договоров восемнадцатого века.

Вскоре пришла война, и я оказался на фронте, а потом — в плену, почему и довелось глянуть одним глазком на Германию военного времени изнутри. Служил я рядовым в батальонной разведке и по условиям Женевской конвенции должен был отрабатывать свое содержание в плену, что и было к лучшему. Мне не пришлось сидеть все время в тюрьме где-то в глуши, я попал в город Дрезден и сумел увидеть горожан и их жизнь.

В рабочей бригаде, в которую меня определили, было около сотни пленных. Нас отдали по контракту на заводик, производивший витаминный солодовый сироп для беременных женщин — на вкус как жидкий мед, сдобренный дымком жженого пекана. Вкусная штука, я и сейчас бы не отказался. А город был чудесный, весь в дворцах, как Париж, и совсем не тронутый войной. Он считался «открытым» городом, в котором не должны вестись боевые действия, поскольку там не было ни военной промышленности, ни сосредоточения войск.

Тем не менее ночью 13 февраля 1945 года — то есть двадцать один год назад с того дня, как я это пишу, — американские и британские самолеты сбросили на город фугасные бомбы. Конкретных объектов для бомбежки летчикам не указывалось. Целью ставилось разнести город в щепу и загнать пожарных в подвалы.

А потом по наколотой фугасками щепе разбросали сотни тысяч крохотных зажигалок — ну, словно семена по свежевспаханному суглинку. Потом еще раз прошлись фугасками, чтобы пожарные из своих нор носу не казали, а тут и очаги пожаров разрослись, сливаясь один с другим, пока не превратились в единое апокалипсическое пламя. Раз — и все: огненная буря. Крупнейшее вышло в европейской истории избиение людей, кстати говоря. Ну, и что с того?

Нам огненной бури увидеть не пришлось. Мы отсиживались в холодильнике под скотобойней в обществе шести охранников среди бесчисленных рядов разделанных свиных, овечьих, говяжьих и лошадиных туш. Слышно было, как наверху охаживают бомбами. То и дело мягко шурша с потолка обсыпалась штукатурка. Сунься мы наверх посмотреть, стать бы нам физическим воплощением атомов пожара: на вид — обугленные головешки в два-три фута длиной; то ли смехотворно крошечные человечки, то ли громадные жареные кузнечики, кому как нравится.

От сиропной фабрики ничего не осталось. И от города ничего не осталось, кроме подвалов, в которых запеклись, как пряничные человечки, 135 000 Гансов и Гретель. Так что нас послали откапывать трупы. Мы пробивались в заваленные убежища, выносили погибших. Там я насмотрелся немцев самых разных типов и возрастов в момент, когда их застигла смерть. Как правило, все сжимали сумки с ценными для них вещами. Иногда посмотреть, как мы копаем, приходили родственники погибших. Они тоже являли собою интересное зрелище.

Вот, стало быть, и все про нацистов и меня. Родись я в Германии, вырос бы я, надо полагать, нацистом, лупил бы евреев, поляков и цыган так, что только бы трупы из сугробов торчали, да грел бы душу потаенным сознанием собственной праведности.

Такие вот дела.

Если подумать, то у этой моей истории есть еще одна очевидная мораль: уж коли ты мертв — то мертв.

А вот и еще одна приходит в голову: люби, пока можешь. Это полезно.

Айова-Сити, 1966 год.

От редактора:

Готовя к публикации исповедь Говарда У. Кэмпбелла-младшего, я столкнулся с произведением, суть которого оказалась куда более глубокой, нежели стремление осветить либо исказить события в зависимости от обстоятельств. Кэмпбелл был не просто человеком, обвиняемым в совершении особо тяжких преступлений, но и писателем, одно время снискавшим известный успех как драматург. Назвать его писателем — значит признать, что одних лишь требований ремесла было достаточно, чтобы заставить его лгать; и лгать, не видя в том никакого греха. Назвать драматургом — значит еще строже предостеречь читателя, ибо кто способен лгать изощреннее человека, лепившего жизни и страсти в мире столь гротескно неестественном, как мир театральной сцены.

А теперь, высказавшись о лжи подобным образом, я отважусь заметить, что ложь, сотворенная во имя художественного эффекта — в театре, например, а то и в исповеди Кэмпбелла, — может в высшем смысле явиться наиболее прельстительной формой истины.

Отстаивать сию точку зрения я и не собираюсь. Полемика не входит в мои обязанности редактора, которые сводятся лишь к тому, чтобы в наилучшем виде выпустить признания Кэмпбелла.

Текст я почти не правил. Лишь убрал орфографические ошибки, да снял несколько восклицательных знаков. Курсив весь мой.

В ряде случаев я изменил имена, дабы не причинить беспокойства или чего еще похуже невинным людям, которые и по сей день живы. Так, например, под именами Бернарда О'Хэа, Гарольда Дж. Спэрроу и д-ра Авраама Эпштейна скрываются в данном повествовании совсем иные лица. Также вымышлены армейский личный номер Спэрроу и название, коим я окрестил отделение Американского легиона: никакого отделения Американского легиона имени Фрэнсиса Донована в Бруклине нет.

В одном лишь месте может подвергаться сомнению моя дотошность, нежели точность самого Говарда У. Кэмпбелла-мл. Речь идет о части главы двадцать второй, где Кэмпбелл цитирует три своих стихотворения и по-английски, и по-немецки. Английские тексты в рукописи совершенно ясны. Немецкие же их варианты, восстановленные Кэмпбеллом по памяти, так исчерканы и замараны правкой, что их и не всегда разберешь. Кэмпбелл гордился своими литературными успехами в немецком, к литературному же своему мастерству в английском относился безразлично.

Самоутверждаясь в этой гордости, он снова и снова перерабатывал и переделывал стихи, написанные по-немецки, так, видимо, никогда и не удовлетворяясь достигнутым.

Поэтому, желая воплотить в настоящей книге дух поэзии, написанной Кэмпбеллом по-немецки, я был вынужден прибегнуть к услугам тончайшего мастера-реставратора. Человеком, восстановившим, так сказать, вазу из черепков, была г-жа Теодора Раули из Котьюита, Массачусетс, прекрасный лингвист и сама почитаемая поэтесса.

Значительные сокращения я сделал лишь в двух местах. В главе тридцать девятой снял абзац по настоянию юриста моего издателя. В оригинале этой главы у Кэмпбелла один из членов Железной гвардии белых сынов американской конституции кричал фэбээровцу: «Я — лучше американец, чем ты! Мой отец придумал праздник „Я — американец!“» Очевидцы сходятся в том, что подобное заявление имело место, но не имело никаких очевидных оснований. Посему юрист счел, что воспроизведение данного заявления в контексте опубликованного текста может оказаться клеветническим по отношению к действительным авторам идеи праздника «Я — американец!».

Попутно замечу, что, согласно свидетельствам очевидцев, именно в этой главе Кэмпбелл наиболее точно цитирует все реплики и высказывания. Все сходятся в том, что Кэмпбелл безупречно достоверно, слово в слово, воспроизводит предсмертный монолог Рези Нот.

Вторая из двух единственных сделанных мною купюр приходится на главу двадцать третью, носившую в оригинале порнографический характер. Я считал бы делом чести довести до читателя эту главу, не тронув там ни строчки, не впиши Кэмпбелл прямо в текст просьбу к редактору выхолостить ее.

Название книге дал сам Кэмпбелл, позаимствовав его из монолога Мефистофеля из «Фауста» Гёте. В переводе Карлайля Ф. Макинтайра (Нью Дирекшнз, 1941) монолог звучит так^[1]: «Я — части часть, которая была / Когда-то всем и свет произвела. / Свет этот — порождение тьмы ночной / и отнял место у нее самой. / Он с ней не сладит, как бы ни хотел. / Его удел — поверхность твердых тел. / Он к ним прикован, связан с их судьбой, / лишь с помощью их может быть собой, / И есть надежда, что когда тела / разрушатся, сгорит и он дотла».

Сам Кэмпбелл определил и кому посвятить книгу. Вот как он объяснял свой выбор в главе, позднее исключенной им из текста:

«Не зная еще, что за вещь у меня получится, я написал следующее: „Посвящается Мате Хари. Она блудила в интересах разведки, и я —

тоже“».

Однако сейчас, прочитав часть получившейся книги, я предпочел бы посвятить ее личности менее экзотичной, более правдоподобной и современной, не так похожей на персонаж немого кино.

Пожалуй, я посвятил бы ее кому-то известному, мужчине или женщине, личности, прославившейся содеянным злом, все время твердя себе при этом: «Да нет, в глубине души во мне таится мое настоящее „я“, очень хорошее „я“, то „я“, что сотворено небом».

Примеров на ум приходит тьма, могу их отчеканить целый список без запинки, как чеканят куплеты Гильберта и Салливэна. Но не приходит ни единого имени, которому я мог бы с полным правом посвятить эту книгу, кроме моего собственного.

Так что позвольте мне почтить самого себя следующим образом:

«Эта книга перепосвящается Говарду У. Кэмпбеллу-младшему — человеку, совершившему главное преступление своей эпохи: он служил злу слишком явно, а добру — слишком тайно».

Курт Воннегут-младший

**ПРИЗНАНИЯ ГОВАРДА У.
КЭМПБЕЛЛА-МЛАДШЕГО**

1: ТИГЛАТПАЛАСАР ТРЕТИЙ

Меня зовут Говард У. Кэмпбелл-младший.

Я — американец по рождению, нацист — по репутации и лицо без подданства по натуре.

Эту книгу я пишу в 1961 году.

Адресую ее я г-ну Тувии Фридману, директору Института документации военных преступлений в Хайфе, а также всем, кого она может касаться.

Чем эта книга должна представлять интерес для г-на Фридмана?

Тем, что написана человеком, подозреваемом в совершении военных преступлений. Г-н Фридман специализируется по людям такого рода. И изъявил страстное желание обогатить свой архив злодеяний нацизма любыми заметками, какие я пожелаю оставить. Настолько страстное, что предоставил в мое распоряжение пишущую машинку, бесплатную стенографистку и референтов, готовых разыскать и уточнить любые факты, необходимые мне для создания подобных и точных мемуаров.

Я сижу за решеткой в симпатичной новой тюрьме в старом Иерусалиме.

И жду справедливого суда государства Израиль моим военным преступлениям.

А машинку г-н Фридман выдал мне занятную и как нельзя более подобающую случаю — она явно изготовлена в Германии времен второй мировой войны. Откуда я знаю? Ну, это проще пареной репы: на клавиатуре установлен ключ, которого знать не знали до эпохи Третьего германского рейха и который никогда больше не поставят на машинку снова.

Это — сдвоенные молнии, означавшие страшные СС, «Шутцстаффел» — самое ярое и фанатичное крыло нацизма.

На такой машинке я всю войну проработал в Германии. И когда приходилось писать о СС, — а приходилось часто, и я всегда писал с энтузиазмом, — я никогда не печатал буквы сокращения «СС», но нажимал ключ, оставлявший на бумаге куда более страшные и магические двойные молнии.

Древняя история.

Древней историей я окружен со всех сторон. Хотя тюрьма, в которой меня гноят, новая, но, говорят, часть камней, из которых она сложена,

тесались ещё при царе Соломоне.

И временами, разглядывая в окно камеры веселую и нахальную молодежь юного государства Израиль, я ощущаю и себя, и свои военные преступления такими же древними, как старые серые камни времен царя Соломона.

Как давно была эта война, эта вторая мировая! Как далеко ушли в прошлое совершенные в ней преступления!

Как почти уже напрочь все это забыто, даже евреями — молодыми евреями, то бишь.

Один из евреев, сторожащих меня, ничего о той войне не знает. Ему не интересно. Зовут его Арнольд Маркс. Жутко рыжий. Арнольду всего восемнадцать. Следовательно, когда умер Гитлер, ему было три, а когда началась моя карьера военного преступника, его еще и на свете не было.

Арнольд сторожит меня с шести утра до полудня.

Родился он в Израиле и ни разу из Израиля не выезжал.

Родители его покинули Германию в начале тридцатых. Дед, по его словам, получил в первой мировой Железный крест.

Арнольд учится на юриста. Но по призванию он археолог, как и его отец-оружейник. Почти все свое свободное время отец и сын проводят на раскопках развалин Газора. Руководит работами Игал Ядин, бывший начальником генерального штаба израильской армии во время войны с арабскими государствами.

Ну, коли так — пусть будет так.

Газор, объяснил мне Арнольд, был канаанитским городом в Северной Палестине, существовавшим не менее тысячи девяти сот лет до Рождества Христова. Примерно за тысячу четыреста лет до Рождества Христова, говорил Арнольд, иудеи захватили Газор, перебили все сорок тысяч его обитателей, а город сожгли дотла.

— Соломон отстроил город, — продолжал Арнольд, — но в 732 году до Рождества Христова Тиглатпаласар Третий сжег его снова.

— Кто-кто? — переспросил я.

— Тиглатпаласар Третий, — повторил Арнольд и добавил: — Ну, ассириец, — как бы давая толчок моей памяти.

— А, — сказал я. — Тот самый Тиглатпаласар.

— Можно подумать, вы никогда о нем и не слышали, — упрекнул Арнольд.

— Не слышал, — сознался я, смиренно пожав плечами. — Ужасно, да?

— Да-а, — протянул Арнольд, нахмурившись, словно учитель в классе. — Казалось бы, уж такую-то историческую личность каждый

должен знать. Другого такого выдающегося деятеля во всей, пожалуй, ассирийской истории не сыскать.

— О, вот как.

— Я принесу вам книгу о нем, если хотите, — предложил Арнольд.

— Вы очень любезны. Возможно, я займусь выдающимися ассирийцами, но несколько позднее. Пока что у меня из головы не идут выдающиеся немцы.

— Какие именно? — любопытствовал Арнольд.

— Да вот, последнее время все вспоминаю своего бывшего начальника — Пауля Йозефа Геббельса.

— Кого-кого? — отсутствующим взглядом посмотрел на меня Арнольд.

И я вдруг ощутил, как, хороня меня, сочится прах Святой Земли, почувствовал всю тяжесть одеяла песка и штыба^[2], которому однажды суждено укрыть меня. Сверху давили футов тридцать-сорок разрушенных городов, снизу — какие-то первобытные кухонные помойки, да храм-другой, а за ними —

Тиглатпаласар Третий.

2: ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С охранником, ежедневно в полдень сменяющим Арнольда Маркса, мы почти ровесники. То есть, ему должно быть сорок восемь. Он-то войну помнит, да еще как, только вспоминать не любит.

Зовут его Андор Гутман. Сонный такой, туповатый эстонский еврей. Два года был в Освенциме — лагере смерти. Рассказывает об этом неохотно, говорит, что был на волосок от трубы крематория сам.

— Только, — говорит, — назначили меня в зондеркоммандо, — как пришел приказ Гимmlера остановить печь.

«Зондеркоммандо» означает подразделение специального назначения. В Освенциме у него было назначение — специальное некуда. Оно комплектовалось из заключенных, коим надлежало вести обреченных в газовые камеры, а затем выгребать трупы. По завершении работ личный состав зондеркоммандо ликвидировался тоже. Первым заданием их преемников было убрать трупы своих предшественников.

По словам Гутмана, многие вызывались работать в зондеркоммандо добровольно.

— Почему? — спросил я.

— Сумей вы написать об этом книгу, — сказал Гутман, — и ответить в ней на этот вопрос, вышла бы действительно великая книга.

— А вы ответ знаете?

— Нет. Потому-то и заплатил бы любые деньги за такую книгу.

— И на ум ничего не приходило?

— Не приходило, — ответил Гутман, глядя мне прямо в глаза, — хотя я и сам добровольно вызвался.

Сделав подобное признание, Гутман на некоторое время оставил меня. Я задумался об Освенциме, хотя меньше всего любил об этом думать. Вернувшись, Гутман сказал:

— По всему лагерю были установлены громкоговорители. Они почти никогда не выключались. Очень много передавали музыки. Знающие люди говорили — хорошей музыки. Часто — самой лучшей.

— Интересно, — вставил я.

— Но только не еврейской, — добавил Гутман. — Еврейская была запрещена.

— Естественно, — кивнул я.

— Музыку то и дело прерывали, — продолжал Гутман, — чтобы объявить приказ. И так весь день напролет: музыка и приказы.

— Очень современно, — заметил я.

Гутман закрыл глаза, напряженно вспоминая что-то:

— Особенно один приказ... Его мурлыкали в микрофон, как колыбельную. По многу раз за день. Приказ для зондеркоммандо.

— Какой? — спросил я.

— Leichenträger zur Wache, — промурлыкал Гутман, по-прежнему не открывая глаз.

Перевожу: «Трупоносы — к караульному помещению». Приказ, понятный в своей обыденности для учреждения, специально созданного для умерщвления миллионов людей.

— Как слушаешь два года эти слова попеременно с музыкой, — объяснил Гутман, — так должность трупоноса вдруг начинает казаться очень даже привлекательной.

— Вполне могу понять.

— Можете? — переспросил, качая головой, Гутман. — А я не могу. И до гробовой доски стыдиться буду. Вызваться работать в зондеркоммандо — позорнейшее дело.

— Я так не считаю.

— А я считаю. Стыдобища. И не хочу больше никогда говорить об этом.

3: БРИКЕТЫ...

Ежедневно в шесть вечера Андора Гутмана сменяет Арпад Ковач — этакий веселый и громогласный живчик.

Заступив вчера в шесть вечера на дежурство, Арпад потребовал дать ему посмотреть, что я успел написать. Я дал ему несколько страничек, и он расхаживал по коридору, отчаянно жестикулируя и без удержу их хваля.

Прочсть он их не прочел, но хвалил то, что предполагал в них прочсть.

— Врежь им, кулемам надутым! Задай им перцу, брикетам чопорным, — все твердил Арпад.

Под «брикетами» Арпад подразумевал людей и пальцем не шевельнувших ради собственного спасения и спасения других, когда власть взяли нацисты. Людей, безропотно готовых идти прямо в газовые камеры, коль скоро нацистам заблагорассудилось туда их отправить. Ведь в прямом смысле слова брикет — это прессованный брусок угольного штыба. Для транспортировки, хранения и сжигания — удобнее не придумать.

Арпад, оказавшись евреем в нацистской Венгрии, превращаться в брикет и не думал. Напротив, он обзавелся фальшивыми документами и вступил в венгерскую эсэсовскую часть.

Чем и объясняется его сочувствие ко мне.

— Да объясни ты им — чего человек ни сделает, лишь бы шкуру сласти! Неужели, если ты порядочный, то тебе одна дорога — в брикеты? — шумел он прошлой ночью.

— Ты хоть одно мое выступление по радио когда-нибудь слышал? — поинтересовался я.

Свои военные преступления я совершил в области радио. Служил нацистским радиопропагандистом, был изобретательным и гнусным антисемитом.

— Нет, не слышал, — сознался Арпад.

Тогда я дал почитать ему текст одной из своих передач, предоставленных мне институтом в Хайфе.

— Почитай.

— А зачем? Все тогда талдычили одно и то же. Изо дня в день.

— Все равно почитай. Сделай одолжение, — попросил я.

Арпад читал, и лицо его мрачнело.

— Вот уж не ожидал, — сказал он, возвращая мне текст.

— Да?

— Не ожидал, что так слабо. Перцу нет, стержня нет, духу не хватает. Я-то думал, ты по расистской части мастак.

— А разве нет? — удивился я.

— Да позволь кто из эсэсовцев моего взвода так дружелюбно отозваться об евреях, я б его расстрелял за измену, — объяснил Арпад. — Нет, Геббельсу надо было тебя уволить и нанять шугать евреев меня. Я б им показал — по всему мир перья б летели!

— Ты и так свой долг исполнял в СС.

Арпад расплылся в улыбке, вспоминая проведенные в СС деньки.

— Я был ариец — первый сорт!

— И никто тебя не заподозрил?

— Посмели бы только! Такой я был чистокровный и грозный ариец, что меня даже определили в специальное подразделение. Нам была поставлена задача выяснить, как евреи всегда узнавали наперед о планах СС. Где-то была утечка информации, и нам надлежало установить и ликвидировать ее.

Арпад даже рассердился и расстроился, вспомнив об утечке, хотя сам ее каналом и служил.

— Выполнило ваше подразделение поставленную задачу? — поинтересовался я.

— Счастлив доложить, — ответил Арпад, — что по нашим рекомендациям расстреляли четырнадцать эсэсовцев. Сам Адольф Эйхман лично поздравил нас.

— Так ты с ним встречался?

— Встречался, — ответил Арпад. — И очень жалею, что не знал тогда, какая он важная шишка.

— Почему?

— Знал бы — убил, — объяснил Арпад.

4. КОЖАНЫЕ РЕМНИ...

С полуночи до шести утра меня сторожит еще один мой ровесник — польский еврей Бернард Менгель. Во время войны он однажды спасся, так убедительно притворясь трупом, что солдат-немец, ничего не заподозрив, вырвал у него изо рта три зуба.

Солдат докапывался до золотых пломб Менгеля.

И заполучил их.

Менгель сказал мне, что здесь, в тюрьме, я очень шумно сплю. По ночам ворочаюсь и бормочу.

— Вы единственный из всех мне известных людей, кто мучается содеянным во время войны, — сказал Менгель. — Все остальные, независимо от того, на чьей стороне были и что творили, абсолютно убеждены, что на их месте у порядочного человека иного выхода не было.

— С чего вы взяли, что я мучаюсь?

— Вижу, как вы спите, что вам снится. Так даже Гесс не спал. Он-то до самого конца спал безмятежно, как святой.

Менгель имел в виду Рудольфа Франца Гесса, коменданта лагеря уничтожения Освенцим, под заботливым присмотром которого были задушены газом миллионы евреев. Менгель немного знал Гесса. Прежде чем эмигрировать в 1947 году в Израиль, Менгель помог его повесить.

И не показаниями, отнюдь нет. А собственными руками. Огромными своими ручищами.

— Это я надел Гессу ремень на лодыжки, когда его вешали, — рассказывал Менгель. — Надел и затянул.

— С чувством глубокого удовлетворения?

— Нет. Я ведь стал такой же, как, почитай, чуть не каждый, прошедший ту войну.

— Это какой же?

— Такой же бесчувственный. Способность чувствовать отшибло напрочь. Просто — работа как работа, и ни одна ничем не хуже и не лучше любой другой.

— Как мы кончили вешать Гесса, — продолжал Менгель, — я пошел укладываться, чтобы ехать домой. Замок у меня на чемодане сломался, так я его прихватил широким кожаным ремнем. Дважды за один час я затягивал ремни: первый — на ногах Гесса, другой — на своем чемодане. И никакой особой разницы не ощутил.

5: «ПОСЛЕДНЕЙ ПОЛНОЙ МЕРОЙ...»

Я тоже знал Рудольфа Гесса, коменданта Освенцима. Мы познакомились на новогодней вечеринке в Варшаве во время войны — встречали 1944 год.

Прослышав, что я — писатель, Гесс отвел меня в сторонку и сокрушался, что не умеет писать.

— Завидую я вам, творческим людям, — вздохнул Гесс. — Ведь творчество — дар богов.

У него у самого накопилось много отличного материала, объяснял Гесс. И все — чистая правда, но рассказать — не поверят.

Вот только рассказывать, по его словам, он не мог, пока не победим. А после победы мы могли бы объединить усилия.

— Говорить-то я могу, — продолжал Гесс, — а писать — не получается. — И смотрел на меня, ожидая сочувствия. — Как сяду писать, ну, просто, как заморозило.

Что занесло меня в Варшаву?

Меня туда послал мой шеф, рейхслейтер д-р Пауль Йозеф Геббельс, руководитель германского министерства народного просвещения и пропаганды. Я в известной степени владел ремеслом драматурга, и Геббельс решил найти ему применение. То есть, сподобить меня сочинить панегирическое действо в честь немецких солдат, выразивших верность последней полной мерой — то есть, павших при подавлении восстания евреев в варшавском гетто.

Д-р Геббельс мечтал ставить сие действо в Варшаве ежегодно после войны, навечно сохранив развалины гетто в качестве декораций.

— А евреи в действе участвовать будут? — спросил я Геббельса.

— Всенепременно, — ответил рейхслейтер. — Целыми тысячами.

— С вашего позволения, сэр, позвольте спросить: где же мы возьмем евреев после войны?

Геббельс оценил юмор.

— Хороший вопрос, — ухмыльнулся он. — Придется обговорить это с Гессом.

— С кем? — переспросил я. Я ведь не бывал раньше в Варшаве и не успел еще познакомиться с братцем Гессом.

— Гесс управляет небольшим еврейским санаторием в Польше, — объяснил Геббельс. — Не забыть бы попросить его оставить их нам

немного.

Должно ли причислять создание сценария этого кошмарического действия к перечню моих военных преступлений? Нет, слава Богу! Дальше заглавия — «Последней полной мерой» — дело не пошло.

Готов признать, однако, что написал бы его, будь у меня достаточно времени и нажми на меня начальство покрепче.

А в общем-то, я готов признать чуть ли не все что угодно.

Что же до действия, то эта история имела одно занятное последствие. Привлекла внимание Геббельса, а затем и самого Гитлера, к Геттисбергской речи Авраама Линкольна.

Геббельс спросил меня об источнике предложенного мной рабочего названия, и я целиком перевел ему текст Геттисбергской речи.

Геббельс прочел его, непрерывно шевеля губами.

— Отменная пропагандистская работа, — заявил он. — И, знаете, вовсе мы не такие уж современные и не так далеко ушли от прошлого, как хотели бы думать.

— У меня на родине эта речь пользуется широкой известностью. Каждый школьник должен знать ее наизусть.

— Скучаете по Америке? — спросил Геббельс.

— Скучаю по горам, рекам, бескрайним равнинам и лесам, — ответил я. — Но не знать мне там счастья, покуда вокруг заправляют евреи.

— Ничего, придет время, и до них доберемся, — утешил Геббельс.

— Только ради этого дня и живу. Мы с женой оба живем только ради этого дня.

— Как поживает ваша жена? — поинтересовался Геббельс.

— Спасибо. Цветет.

— Очаровательная женщина, — заметил Геббельс.

— Я передам жене ваши слова. Она будет несказанно счастлива.

— Касательно этой речи Линкольна...

— Слушаю?..

— Там есть фразы, которые могли бы быть весьма эффектно использованы при проведении церемоний похорон немецких солдат с воинскими почестями, — пояснил он. — Я, признаться, отнюдь не удовлетворен уровнем нашей погребальной риторики.

Здесь же, как представляется, и нащупана та самая проникновенная тональность, которую я ищу. Мне бы очень хотелось послать этот текст Гитлеру.

— Как прикажете, сэр, — ответил я.

— А Линкольн, случайно, не еврей?

— Точно сказать затрудняюсь.

— Я попал бы в неловкое положение, окажись он вдруг евреем.

— Да нет, вроде я нигде ничего подобного не слышал.

— Но вот имя — Авраам — звучит, мягко говоря, просто подозрительно.

— Да его родители наверняка и думать не думали, что Авраам — еврейское имя, — возразил я. — Оно им просто нравилось на слух. Они кто были? Простые люди с фронта. Да знай они, что Авраам — имя еврейское, не иначе, как назвали бы парня как-то более по-американски: Джорджем там, Стэнли, а то и Фредом.

Две недели спустя текст Геттисбергской речи вернулся от Гитлера с приколотой к первой страничке собственноручной запиской фюрера. «Некоторые места этой речи чуть не вызвали у меня слезы, — писал он. — Все северные народы объединяет глубина чувств, испытываемых ими к солдатам. Пожалуй, это самые прочные узы, объединяющие нас».

Странно — мне никогда не снятся ни Геббельс, ни Гитлер, ни Гесс, ни Геринг, ни одно из кошмарных действующих лиц мировой войны, числящейся под номером «вторая». Вместо них мне снятся женщины.

Я поинтересовался у Бернарда Менгеля, стража, караулящего меня в часы моего сна здесь, в Иерусалиме, наводит ли его что-либо на догадки о том, что мне снится.

— Вчера, что ли? — уточнил он.

— Ну, вообще.

— Вчера вам снились женщины, — ответил он. — Вы все время повторяли имена двух женщин.

— Какие?

— Одну звали Хельга.

— Жена, — ответил я.

— А вторая — Рези.

— Ее младшая сестра. Подумаешь дело — имена.

— Еще вы сказали: «Прощай».

— «Прощай», — эхом повторил я. Это-то как раз понятно, что во сне, что наяву. Хельга и Рези ушли. Ушли навсегда.

— Еще вы вспоминаете Нью-Йорк, — продолжал Менгель. — Бормочете что-то, затем говорите: «Нью-Йорк», затем — опять бормочете.

— И это понятно, как и большая часть того, что мне снится. Прежде чем попасть в Израиль, я долго жил в Нью-Йорке.

— В Нью-Йорке, должно быть, как в раю, — предположил Менгель.

— Вы, пожалуй, и чувствовали бы себя там, как в раю. Для меня же

это был ад — нет, не ад. Гораздо хуже.

— Что может быть хуже ада? — удивился Менгель.

— Чистилище, — ответил я.

6: ЧИСТИЛИЩЕ...

Так вот, о моем нью-йоркском чистилище: я провел в нем пятнадцать лет.

Я исчез из Германии в конце второй мировой войны. И всплыл, никем не uznанный, в Гринич-Вилидж. Там я снял унылую конуру на чердаке, где за стеною попискивали и копошились крысы. Там, на чердаке, я и жил, пока месяц назад меня не доставили для суда в Израиль.

Одно было хорошо в моем крысином чердаке: заднее окно выходило в маленький частный скверик, образованный смыкавшимися задними дворами крохотный Эдем, со всех сторон огороженный от улиц строениями.

Детям хватало там места играть в прятки.

Я часто слышал крик, доносившийся из этого крохотного Эдема, детский крик, неизменно заставлявший меня прислушиваться, застыв на месте. Сладковато-скорбный крик, означавший, что игра в прятки окончена, что те, кто еще прячутся, могут выходить из укрытий, потому что пора домой.

А кричали они:

— Три-три, нет игры, ты свободен — выходи!

А я, прятавшийся от столь многих, хотевших бы изловить или убить меня, так жаждал, чтобы кто-нибудь крикнул это мне, закончив мою бесконечную игру в прятки сладковато-скорбным:

— Три-три, нет игры, ты свободен — выходи!

7: АВТОБИОГРАФИЯ...

Я, Говард У. Кэмпбелл-младший, родился в Шенектеди, штат Нью-Йорк, 16 февраля 1912 года. Мой отец, сын баптистского священника, выросший в Теннесси, работал инженером в отделе инженерного обеспечения компании «Дженерал электрик».

В функции отдела инженерного обеспечения входили установка, обслуживание и ремонт тяжелого оборудования, которым «Дженерал электрик» торговала по всему свету. Отец, поначалу ездивший в командировки только по стране, дома бывал редко. Работа же его требовала таких изощренных форм выражения инженерного искусства, что на что-либо другое у него ни времени, ни фантазии почти не оставалось. Человек и его работа слились воедино.

Единственной, не относящейся к технике книгой, которую я видел у него в руках, была иллюстрированная история первой мировой войны. Такой фолиант с иллюстрациями в фут длиной и полтора фута шириной. Отцу, казалось, никогда, не надоедало рассматривать их, хотя на войне он не был.

Он так ни разу и не сказал мне, чем эта книга для него была, а я так и не спросил. Он лишь предупредил меня, что книга — не для детей, и мне ее рассматривать не полагалось.

Так что, естественно, я лазил в нее каждый раз, поило остаться одному дома. И разглядывал снимки; люди, висящие на заграждениях из колючей проволоки, изувеченные женщины, трупы, сложенные словно поленницы, словом — обычный антураж мировых войн.

Моя мать, в девичестве Виргиния Крокер, родилась в семье фотографа-портретиста из Индианаполиса. Домохозяйка и виолончелистка-любительница. Она играла на виолончели в симфоническом оркестре Шенектеди и одно время мечтала, что играть на виолончели буду и я.

Но из меня виолончелиста не вышло — мне, как и отцу, медведь на ухо наступил.

Ни братьев, ни сестер у меня не было, а отец появлялся дома редко. Поэтому на протяжении многих лет я составлял все мамино общество. Мама была красива, талантлива и склонна к меланхолии. Сдается мне, она почти всегда была пьяна. Помню, как однажды она налила полное блюдо спирта, насыпала туда поваренной соли и усадила меня за стол напротив

себя.

А затем опустила в смесь спичку. Вспыхнуло пламя. Горящий натрий окрашивал его в почти безупречно желтый цвет, заставляя маму казаться мне покойницей, а меня — казаться покойником ей.

— Вот такими мы станем, когда умрем, — сказала мать.

Сия странная демонстрация напугала не только меня — ее самое она напугала тоже. Мать испугалась собственных причуд, и с тех пор я перестал быть главным ее компаньоном. С тех пор она вообще почти не говорила со мной — напрочь от меня отмахнулась. Наверняка из боязни учудить что-нибудь еще, похлеще.

Все это произошло в Шенектеди, когда мне не исполнилось еще и десяти.

В 1923-м, когда мне было одиннадцать, отца перевели в берлинское представительство «Дженерал электрик». С тех пор я учился и говорил, в основном, по-немецки и компанию водил с немцами.

В конечном счете я стал писать по-немецки и женился на немецкой актрисе Хельге Нот, старшей из двух дочерей Вернера Нота, начальника берлинской полиции.

Мои родители покинули Германию в 1939-м, когда началась война.

Мы с женой остались.

До окончания войны в 1945-м я зарабатывал на прожитие будучи автором и диктором нацистской радиопрограммы на англоговорящий мир. Я был ведущим специалистом по американским делам министерства народного просвещения и пропаганды.

К концу войны я оказался в числе тех, чьи имена возглавили список военных преступников. В основном, потому, что совершал свои преступления столь непристойно публичным образом.

12 апреля 1945 года меня арестовал близ Херсфельда некий лейтенант Бернард О'Хэа из Третьей американской армии. Я ехал на мотоцикле, оружия при себе не имел. Хотя мне присвоили право ношения формы — голубой с золотом, — я был в штатском: в синем сержевом костюме и траченном молью пальто с меховым воротником.

Так уж получилось, что двумя днями ранее подразделения Третьей армии взяли Ордруф, первый нацистский лагерь смерти, который довелось увидеть американцам. Меня приволокли туда и ткнули носом во все: известковые ямы, виселицы, козлы для порки... и груды трупов забитых, замученных, задавленных людей с глазами, вылезшими из орбит.

Имелось в виду показать мне, что я натворил.

Виселицы Ордруфа были рассчитаны на партии по шесть человек.

Когда я их увидел, на каждой болтался мертвый охранник.

Предполагалось, что вскоре повесят и меня.

Я и сам так полагал, почему и заинтересовался, насколько легко умерли повешенные охранники.

Оказалось, они скончались быстро.

Пока я изучал виселицы, меня сфотографировали с лейтенантом Бернардом О'Хэа на заднем плане — поджарым, как молодой волк, и полным ненависти, что твоя гремучая змея.

Снимок попал на обложку «Лайфа» и чуть было не удостоился Пулитцеровской премии.

8: AUF WIEDERSEHEN...

Меня не повесили.

Я был виновен в государственной измене, преступлениях против человечности и против собственной совести. Но по сей день мне все сходило с рук.

Потому, что на протяжении всей войны я был агентом американской разведки. Мои выступления по немецкому радио использовались для передачи зашифрованной информации.

Шифром служили особенности манеры речи, паузы, ударения, придыхания, покашливания и кажущиеся запинки в определенных ключевых предложениях. Указания, в каких именно фразах передачи использовать эти приемы, поступали от людей, которых я ни разу в глаза не видел. Я так до сих пор и не знаю, что за сведения шли через меня. Поскольку инструкции я получал довольно простенькие, то предполагаю, что, и основном, просто давал утвердительные или отрицательные ответы на вопросы, ранее поставленные перед агентурной сетью. Временами — как, например, в период активной подготовки к высадке в Нормандии — мне поступали инструкции более сложные. Тогда я выходил в эфир с таким синтаксисом и такой дикцией, будто страдал двусторонним воспалением легких в последней стадии.

Вот и весь мой вклад в победу союзных держав.

Этот-то вклад и спас мою шкуру.

Меня взяли под крыло. Моя работа в американской разведке публично не признавалась. Просто прикрыли дело по обвинению меня в государственной измене, освободив меня на основании каких-то надуманных процессуальных тонкостей касательно моего гражданства. А затем помогли исчезнуть.

Вернувшись под чужим именем в Нью-Йорк, я начал, так сказать, новую жизнь в кишачем крысами чердаке с видом на укромный скверик.

Меня не замечали. Настолько не замечали, что я Снова стал жить под своим настоящим именем, и почти что никому и в голову не пришло поинтересоваться, тот ли я самый Говард У. Кэмпбелл-младший.

Иногда я натыкался на свое имя в газете или журнале — меня никогда не упоминали отдельно, как какую-то важную птицу, нет, просто перечисляли в длинном списке скрывшихся военных преступников. Ходили слухи, будто меня видели в Иране, то в Аргентине, то в

Ирландии... По слухам, также израильские агенты рыскали в поисках меня по всему миру.

Как бы там ни было, в мою дверь никакие агенты не стучались. В мою дверь вообще никто не стучался, хотя любой мог прочесть на почтовом ящике: «Говард У. Кэмпбелл-младший».

За все время, проведенное в чистилище Гринич-Вилидж, я испытал самую большую опасность разоблачения моей постыдной тайны, обратившись к врачу-еврею, жившему в том же доме, на чердаке которого ютился я. У меня нарывал большой палец руки.

Врача звали Авраам Эпштейн. Они с матерью только что въехали в наш дом и поселились на втором этаже.

Я назвал себя. Врачу мое имя ничего не говорило. Зато кое-что говорило его матери. Эпштейн был молод, только-только со студенческой скамьи. Мать его была стара — грузная, медлительная, с изрезанным глубокими морщинами лицом, на котором читались скорбь, горечь и настороженность.

— Известное имя, — заметила старуха. — Ну, вы-то, наверное, знаете.

— Простите? — обернулся к ней я.

— Неужели вы не слыхали ни о ком другом по имени Говард У. Кэмпбелл-младший? — удивилась старуха.

— Надо думать, не одного меня так зовут, — пожал я плечами.

— Сколько вам лет? — спросила она.

Я ответил.

— Тогда вы должны помнить войну.

— Хватит о войне. Забудь, — сказал ей сын ласково, но твердо, перевязывая мой палец.

— Неужели не слышали передач Говарда У. Кэмпбелла-младшего из Берлина? — спросила меня старуха.

— Да, да, теперь припоминаю. Совсем из головы вон, — ответил я. — Дело-то давнее. Его самого я никогда не слышал, но помню, что о нем писали. Забывается все.

— И должно забываться, — вставил доктор Эпштейн. — Все это случилось в эпоху безумия, о которой чем быстрее забыть, тем лучше.

— Освенцим, — произнесла его мать.

— Забудь об Освенциме, — ответил доктор Эпштейн.

— Вы знаете, что такое Освенцим? — спросила старухи меня.

— Знаю.

— Там прошла моя молодость. И детство моего сына, доктора, тоже прошло там.

— Я выкинул все это из головы, — резко сказал доктор Эпштейн. — Так, палец ваш окончательно заживет дня через два. Не мочить, держать в тепле. — И он заторопился проводить меня к двери.

— Sprechen sie Deutsch? — крикнула мне вслед мать.

— Простите? — остановился я.

— Я спросила, говорите ли вы по-немецки.

— А... Нет, боюсь, что нет, — ответил я. И позволил себе робко поэкспериментировать с чужим языком. — Nein? — сказал я. — Это ведь означает «нет» — не так ли?

— Очень хорошо, — одобрила старуха.

— Auf Wiedersehen, — произнес я. — Это по-ихнему «прощайте», верно?

— До свидания, — поправила меня она.

— Ах, вот как... что ж — Auf Wiedersehen.

— Auf Wiedersehen, — ответила старуха.

9: ТЕ ЖЕ И ГОЛУБАЯ ФЕЯ-КРЕСТНАЯ...

Я был завербован американской разведкой в 1938-м, за три года до вступления Америки в войну. Произошло это одним весенним днем в берлинском парке Тиргартен.

Я уже месяц, как был женат на Хельге Нот.

Мне было двадцать шесть лет.

И я был весьма преуспевающим драматургом, писавшим на языке, дававшимся мне для творчества лучше всего — на немецком. Одна моя пьеса — «Чаша» — шла в Берлине и Дрездене. Другую — «Снежную Розу» — как раз ставили в Берлине. И я только что завершил третью — «Семьдесят раз по семь». Все три пьесы были о деяниях средневековых рыцарей и политики в них было не больше чем в шоколадных эклерах.

В тот день я одиноко грелся на солнышке, усевшись на парковой скамейке, обдумывая замысел четвертой своей пьесы, которая сама себе и предложила название — «Государство двоих».

Это обретала плоть пьеса о нашей с женой любви.

О том, что два любящих существа могут выжить в обезумевшем мире, сохранив верность одному лишь государству, из них самих и состоявшему — государству двоих.

На скамейку напротив присел средних лет американец — на вид дурак и пустозвон. Развязав шнурки, чтобы дать ногам отдых, он начал читать месячной давности номер «Чикаго санди трибюн».

По аллее, разделявшей нас, прошли три красавчика офицера СС.

Когда они скрылись из виду, американец опустил газету и, по-чикагски гнуся, сказал мне:

— Симпатичные ребята.

— Пожалуй, да, — ответил я.

— Вы понимаете по-английски?

— Да.

— Слава Богу! Человек говорит по-английски! А то я тут чуть с ума не сошел — все пытался найти, с кем поболтать.

— Правда?

— Что вы обо всем этом думаете? — поинтересовался он. — Или теперь подобных вопросов больше не задают?

— О чем — «об этом»? — переспросил я.

— О том, что происходит в Германии, — уточнил незнакомец. —

Гитлер, евреи и все прочее.

— Я здесь поделаться ничего не могу, — сказал я. — Так что об этом и не думаю.

— То есть, вас не задело, — понимающе кивнул тот.

— Простите?

— В смысле — «не ваше дело»?

— Вот именно, — согласился я.

— Вы не поняли, когда я сказал, «вас не задело» вместо «не ваше дело»?

— Это, должно быть, распространенное выражение, да? — поинтересовался я.

— В Америке, — ответил незнакомец. — Слушайте, вы не против, если я пересяду к вам, чтобы не кричать через аллею?

— Как вам угодно.

«Как вам угодно», — повторил он мои слова, перебираясь ко мне на скамейку. — Типично английское выражение.

— Я американец.

— Нет, правда? — поднял он брови. — Я пытался угадать, кто вы, но этого мне и в голову не пришло.

— Спасибо, — поклонился я.

— По-вашему, я сделал вам комплимент? Вы мне за комплимент сказали «спасибо»?

— Ни комплимент, ни оскорбление, — ответил я. — Национальная принадлежность просто не интересует меня и той степени, в которой, может, и должна была бы интересоваться.

Мой ответ, казалось, обескуражил его.

— Не моего задела будет спросить, чем вы зарабатываете на жизнь?

— Пишу.

— Нет, правда? — оживился незнакомец. — Вот ведь совпадение. А я-то как раз сижу тут и все жалею, что не писатель, потому как надумал отличный, по-моему, сюжет для книжки про шпионов.

— Вот как?

— А чего! Могу вам и рассказать, коли так. Мне-то все равно ее нипочем не написать.

— У меня и так тем невпроворот.

— Ну, как знать — а вдруг когда-нибудь иссякнете, вот тут-то мой сюжетец и сгодится. Речь, значит, об одном американце, который так долго прожил в Германии, что сам стал настоящим немцем. Пьесы пишет по-немецки, женился на немецкой красавице-актрисе и заимел кучу знакомств

среди нацистских шишек, которые любят отираться среди театральных. — И он скороговоркой перечислил имена нацистов, крупных шишек и помельче. Всех из них мы с Хельгой довольно хорошо знали.

Нет, мы с Хельгой вовсе не были без ума от наци. Но, с другой стороны, не сказал бы, чтобы мы их и особенно ненавидели. Они составляли большую и восторженную часть нашей аудитории и играли важную роль в обществе, в котором мы вращались.

Люди как люди.

И только задним умом я способен воспринимать их существами, оставлявшими за собой мерзкий и смрадный след.

По-честному, я и сейчас их такими представить себе не могу. Слишком близко я знал их с человеческой стороны, чересчур упорно в свое время трудился, зарабатывая их доверие и аплодисменты.

Чересчур упорно.

Аминь.

Чересчур.

— Кто вы? — спросил я незнакомца в парке.

— Давайте я сначала доскажу, — попросил тот. — Вот, значит, этот парень понимает, что скоро грянет война, и соображает, что Америка окажется на одной стороне, а Германия — на другой. И вот, значит, этот американец, который раньше с нацистами просто вежливо держался, решает сам притвориться нацистом, остается в Германии после начала войны и становится очень ценным американским шпионом.

— Вы знаете, кто я такой? — задал я вопрос.

— А то нет, — ответил он и, раскрыв бумажник, показал мне удостоверение сотрудника военного министерства США на имя майора Фрэнка Уиртанена. Место службы в удостоверении не указывалось.

— А это, чтобы вы знали, кто я такой. Я предлагаю вам сотрудничество с американской разведкой, мистер Кэмпбелл.

— О, Господи Иисусе! — в голосе моем прозвучали как гнев, так и покорность судьбе. Я обмяк на скамейке.

Выпрямившись, наконец, снова, я отрезал:

— Это же курам на смех! Нет! Нет, черт побери!

— Ну, в общем-то, я не очень огорчен, — сказал Уиртанен, — потому что окончательный ответ вы мне все равно дадите не сегодня.

— Если вы полагаете, что я вернусь домой, чтобы обдумать ваше предложение, то вы ошибаетесь. Домой я вернусь за тем, чтобы отменно поужинать с моей красавицей-женой, слушать музыку, любить жену, а затем заснуть как убитый. Я не военный и не имею политических

убеждений. Я художник. Случись война, она все равно застанет меня за моим прежним мирным ремеслом.

— Я желаю вам всяческих успехов в этом мире, мистер Кэмпбелл, — покачал головой Уиртанен, — но эта война никому не позволит по-прежнему заниматься своим мирным ремеслом. И, как ни жаль мне говорить это, — продолжал он, — но чем больше разгуляется нацизм, тем меньше вам придется спать по ночам как убитому.

— Посмотрим, — выдавил я.

— Вот именно — посмотрим, — отозвался майор. — Поэтому я сказал, что окончательный ответ вы мне дадите не сегодня. Окончательным ответом станет вся ваша дальнейшая жизнь. Решившись работать, вы будете работать исключительно в одиночку, завоевывая столь высокое положение среди нацистов, какого только сумеете добиться.

— Прелестно, — буркнул я.

— Будете настоящим героем. Раз в сто смелее среднего человека — вот и вся прелесть, — ответил он.

Мимо нас прошли прямой, словно аршин проглотил, генерал вермахта и толстяк в штатском с портфелем, со сдержанным волнением обсуждавшие что-то на ходу.

— Здравствуйте! — дружелюбно бросил майор Уиртанен.

Презрительно фыркнув в ответ, они проследовали дальше.

— В самом начале войны вы добровольно пойдете на смерть. Ведь если даже вас не поймают и вы доживете до конца войны, ваша репутация будет замарана, и вам вряд ли останется, ради чего жить.

— Вы придаете вашему предложению неотразимо привлекательный вид.

— Думаю, что у меня есть шанс сделать его привлекательным именно для вас. Я видел вашу пьесу. И прочитал ту, что готовится к постановке.

— Да? И что же вы из них почерпнули?

— Что вам по душе чистые сердца и героические натуры, — улыбнулся Уиртанен. — Что вы любите добро и ненавидите зло. И что вы — романтик.

Главной причиной, позволявшей предположить, что и соглашусь идти в шпионы, он не знал. А главное заключалось в том, что я был несостоявшийся актер. Роль же шпиона того сорта, что описал мой собеседник, обещала возможности грандиозного лицедейства. Я всех надую блестящей имитацией нациста до мозга костей.

И надул. Я стал таким напыщенным и самодовольным, будто был правой рукой Гитлера, и никто не видел моего настоящего «я», загнанного

далеко в глубь души.

Могу ли я доказать, что был сотрудником американской разведки?

Вещественным доказательством номер 1 служит моя иесвернутая белоснежная шея. И это единственное вещественное доказательство, каким я располагаю. Те, кому надлежит установить мою виновность или невиновность в совершении преступлений против человечности, приглашаются к дотошному изучению его во всех подробностях.

Правительство Соединенных Штатов не подтверждает и не отрицает, что я был его агентом. Что же, спасибо и на том, что не отрицает вероятность этого.

Однако тут же делают финт, отрицая, что к государственным службам имел какое-либо отношение некий Фрэнк Уиртанен. В его существование не верит никто, кроме меня. Поэтому в дальнейшем я буду часто именовать его «Моя Голубая Фея-Крестная».

Среди многих инструкций, полученных мною от Моей Голубой Фен-Крестной, были пароль и отзыв для тех, кто выйдет со мной на связь в случае войны. Пароль: «Новых заводи друзей».

Отзыв: «Старых не бросай».

Мой здешний защитник, член коллегии адвокатов господин Элвин Добровиц, в отличие от меня вырос в Америке. Он говорит, что пароль и отзыв взяты из песенки, которую распевали мечтательные девочки-скауты.

По словам господина Добровица, весь куплет звучит так:

Новых заводи друзей,
Старых не бросай.
Золота за серебро
Не отдавай.

10: РОМАНТИКА...

Моя жена о моей работе в разведке ничего не знала.

Я ничего не потерял бы, откройся я ей. Она не стала бы любить меня меньше. И никакой опасности в этом не было. Просто не хотелось вторгаться в мир души моей божественной Хельги, по сравнению с которым Откровение Иоанна Богослова — и то казалось обыденной прозой.

И так войны хватало.

Моя Хельга верила, что я всерьез говорю всю эту чушь, которую нес по радио и в гостях. Мы все время ходили в гости.

Мм пользовались большим успехом — молодая, веселая и патриотическая чета. Все говорили, что мы производим бодрящий, зажигающий эффект. И Хельга отнюдь не прожила войну просто светской красавицей. Она выступала в действующей армии, нередко под звук канонады вражеских орудий.

Вражеских ли? Ну, в общем, чьих-то.

Вот так я и потерял ее. Хельга выступала с концертной бригадой в Крыму, когда Крым отбили русские. Моя Хельга считалась погибшей.

После войны я заплатил изрядную сумму частному сыскному бюро в Западном Берлине, которое нанял в попытках разыскать хоть какие-то следы. Результат — ноль. Постоянно предлагаемое мною вознаграждение в десять тысяч долларов за неопровержимые доказательства того, что Хельга либо погибла, либо жива, так и осталось не востребованным.

Хай-хо!

Моя Хельга верила, что я всерьез говорил о человеческих расах и механизмах истории — и я признателен ей за это. Кто бы я на самом деле ни был, что бы у меня на самом деле ни было на уме, нуждался я лишь в одном — в безоглядной любви, и Хельга была ангелом, дарившим ее мне.

Щедрее щедрого.

Нет на Земле молодого человека столь великолепного во всех отношениях, чтобы не нуждаться в безоглядной любви. Господи, да для молодых, играющих сноп роли в политических трагедиях, в которых действуют миллиарды людей, безоглядная любовь и есть единственное сокровище, на которое можно надеяться.

«Das Reich der Zwei», государство двоих, состоявшее из моей Хельги и меня, имело собственную территорию. Эту территорию, не выходившую

далеко за пределы нашей огромной двуспальной кровати, мы защищали ревностно, как могли.

Маленькая равнина пуха и пружин, единственные горы на которой образовывали мы с Хельгой.

И коль скоро любовь была единственным смыслом моей жизни, как же блестяще овладел я географией нашей страны! Какую я мог начертить бы карту для туристика величиной с ноготок, крохотного такого чудопутешественника, карту с велосипедным маршрутом от родники до волнистого золотого пушка по обе стороны пупка моей Хельги. Прости меня, Боже, если что прозвучало пошло. Просто всем свойственны какие-то игры для поддержания умственного здоровья. Я лишь описал ту, в которую играли мы — этакую «сороку-ворону» для взрослых.

О, как мы сливались в объятиях, моя Хельга и я! Как бездумно сливались в объятиях!

Мы не различали слов друг друга. Мы слышали лишь мелодии наших голосов. То, что привлекало наш слух, было не более членораздельно, чем кошачье мяуканье.

Пытайся мы вслушиваться внимательнее, пытайся мы понять услышанное — что за тошнотворная парочка бы вышла! За пределами суверенной территории нашего государства двоих мы говорили все то же, что и окружавшие нас обезумевшие патриоты.

Но это было не в счет.

В счет шло только одно — государство двоих.

И когда оно распалось, я стал тем, кто есть сегодня, и кем буду всегда — лицом без гражданства.

Нельзя сказать, чтобы меня не предупреждали. Человек, вечность назад завербовавший меня в парке Тиргартен, предсказал мне судьбу довольно точно.

— Чтобы успешно выполнить задание, — объясняла Моя Голубая Фея-Крестная, — вам придется совершить государственную измену, придется верой и правдой служить врагу. Этого вам никогда не простят, потому что для такого прощения просто не существует правового механизма.

— Предел того, что для вас можно сделать, — говорил он мне, — это спасти вашу шкуру. Но не придет волшебный день, когда очистят ваше имя, когда Америка радостно позовет: «Три-три, нет игры, ты свободен, выходи».

11: ИЗЛИШКИ ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА...

Мои родители умерли. Как считают — от горя, разбившего им сердца.

Однако обоим было глубоко за шестьдесят, а в этом возрасте сердца разбиваются часто.

Они не дожили до конца войны и своего недостойного сына больше не видели. Наследства, однако, меня не лишили, хотя, наверное, с трудом преодолели соблазн сделать это. Они оставили Говарду У. Кэмпбеллу младшему, гнусному антисемиту, перевертышу и звезде эфира, ценных бумаг, недвижимости, наличных и имущества стоимостью сорок восемь тысяч долларов на момент утверждения завещания судом в 1945 году.

Сейчас — из-за инфляции и роста недвижимости в цене все это добро стоит в четыре раза больше, принося мне незаработанные семь тысяч в год.

Говорите обо мне что хотите, но основного капитала я не трогал ни разу.

Когда, после войны, я жил белой вороной в уединении Гринич-Вилидж, у меня уходило четыре доллара и день, включая квартплату, и при этом я еще обошелся телевизором.

Вся моя новая обстановка была из излишков военного имущества — такое же оставшееся с войны барахло, как я сам. Узкая железная койка, защитного цвета одеяла со штампом «Армия США», складные матерчатые стулья, солдатские котелки. Так же я подобрал почти всю свою новую библиотеку — из наборов, предназначавшихся для развлечения действующей армии.

Поскольку эти неиспользованные наборы содержали и много пластинок, я заодно купил списанный армейский пылеводонепроницаемый морозоустойчивый патефон с гарантией работы в любом климате от Берингова пролива до Арафурского моря. Наборы продавали запечатанными, как котов в мешке, поэтому я оказался обладателем двадцати шести пластинок с записью «Белого Рождества» в исполнении Бинга Кросби.

На распродаже списанного военного имущества я справил себе и гардероб: пальто, плащ, куртку, носки, белье.

Купив за доллар армейский индивидуальный пакет, я нашел в нем морфий. Стервятники, промышлявшие на этом поле, так обожрались падалью, что и не заметили его.

Меня подмывало принять морфий — ведь если он доставит радость, у

меня хватит денег покупать его регулярно. Но потом я понял, что и так уже одурманен.

Наркотиком мне служило то же, что помогло пережить войну: способность делать так, чтобы чувства мои пробуждало лишь одно — моя любовь к Хельге. Сия концентрация всех моих чувств на столь малом пространстве, начавшись счастливой иллюзией влюбленного юнца, переросла в противоядие, спасшее меня от безумия в годы войны, и, наконец, превратилась в ось, вокруг которой и вращалось постоянно все мое мироощущение.

Итак, предполагаемая гибель моей Хельги превратила меня в жреца посмертного ее культа, снискавшего душевный покой, свойственный любому фанатику, для которого не существует мира вне рамок исповедуемого им. Всегда один, я поднимал тост за ее здоровье; проснувшись, желал ей доброго утра; ложась спать, желал ей спокойной ночи; музицировал для нее, а на все остальное мне было плевать.

И вот однажды, в 1958 году, уже прожив подобным образом тринадцать лет, я купил на распродаже излишков военного имущества набор для вырезания по дереву. Этот излишек был уже не со второй мировой, а с корейской и обошелся мне в три доллара.

Вернувшись домой, я начал резать ручку метлы. Просто так, бездумно. И вдруг мне взбрело в голову сделать шахматы.

Я подчеркиваю — «вдруг». Ибо этот внезапный взрыв интереса к чему-то просто ошарашил меня. Меня охватило такое нетерпение, что я вырезал фигурки двенадцать часов напролет, раз десять порезался, но все никак не мог остановиться. К концу работы я весь извозился и с головы до ног перемазался собственной кровью, зато был окрылен успехом и гордо взирал на плод трудов своих — комплект изящных шахматных фигурок.

И тут у меня пробудилось еще одно невероятное желание.

Жутко захотелось кому-нибудь показать сотворенную мною красоту. Кому-нибудь, еще живому.

От творческой удачи и сопровождавшей ее выпивки я разошелся настолько, что спустился этажом ниже и забарабанил в дверь соседу, хотя и не имел ни малейшего представления, кто он.

Соседом оказался старый лис по имени Джордж Крафт. То есть, по одному из его имен. По-настоящему его звали полковник Иона Потапов, Этот дряхлый сукин сын был русским шпионом, безвылазно просидевшим в Америке с 1935 года.

Но я этого не знал.

Он сперва тоже не знал, кто я.

Свела нас просто слепая судьба. Никакой операцией тут поначалу и в помине не пахло. Это же я сам и нему постучал, нарушив его покой. А не вырежь я эти шахматы, мы вообще бы так и не познакомились.

Крафт — я впредь буду именовать его Крафтом, потому что воспринимаю его именно как Крафта — запирался на три, а то и на четыре замка.

Я соблазнил его открыть дверь вопросом, играет ли он в шахматы. И снова слепая судьба — ни на что иное он бы не клюнул.

Впоследствии люди, помогавшие мне подбирать материалы, сообщили мне, что имя Ионы Потапова пользовалось широкой известностью на европейских шахматных турнирах начала тридцатых годов. На турнире 1931 года в Роттердаме он даже одержал победу над гроссмейстером Тартаковым.

Когда Крафт открыл мне, я сразу понял, что попал к художнику. Посреди гостиной стоял мольберт с натянутым свежим холстом, а все стены увешаны работами хозяина. Потрясающими работами.

Говорить о Крафте-Потапове мне куда легче и приятнее, чем об Уиртанене-Бог Его Знает Кто Еще. Уиртанен оставил следов не больше чем червячок с ноготок, ползающий по бильярдному столу. Крафт же напоминает о себе повсеместно. На настоящий день, как мне сказали, полотна Крафта идут в Нью-Йорке по десять тысяч каждое.

У меня под рукой вырезка из «Нью-Йорк геральд трибюн» от 3 марта — то есть двухнедельной давности, — в которой критик пишет о Крафте-художнике:

«Вот, наконец, явился талантливый и достойный наследник всей фантазии, поиску и эксперименту в живописи прошедших ста лет. Аристотель считался последним, кто был способен полностью понять современную ему культуру. Джордж Крафт, несомненно, является первым, кто способен полностью понять современное искусство, разобраться в анатомии его костей и мышц.

Почерком, немыслимо твердым и грациозным, он объединяет мириады враждующих школ живописи как прошлого, так и настоящего. Он и волнует, и смиряет наш дух гармонией, как бы говоря нам: „Хотите нового Ренессанса? Что ж, вот такую будет живопись, выражающая его дух“.

Джордж Крафт, он же Иона Потапов, получил возможность развивать свое выдающееся художественное дарование в федеральной тюрьме Форт-Ливенворт. Что наводит нас — и, несомненно, самого Крафта-Потапова тоже — на мысль, как откровенно безжалостно раздавили бы его

творчество, попади он в тюрьму у себя на родине в России».

Что ж, когда Крафт открыл мне, я сразу понял, что его картины хороши. Но не понял, что так хороши. Сдается мне, что вышеприведенную рецензию написал какой-то педрила под сильным влиянием винных паров.

— А я и не знал, что подо мной живет художник, — сказал я Крафту.

— Может, и не художник вовсе, — возразил тот.

— Отличные работы! — продолжал я. — А где выставляетесь?

— Я вообще никогда не выставлялся.

— Зря. Заработали б кучу денег.

— Вы очень любезны, — поклонился Крафт, — но я слишком уж поздно начал писать.

И затем поведал мне историю своей жизни, в которой не было ни слова правды.

По словам Крафта, он был вдовцом из Индианаполиса. В юности, мол, мечтал стать художником, но пришлось идти по деловой части — краски и обои.

— Жена скончалась два года назад, — продолжал Крафт, и даже ухитрился прослезиться немного. Жена-то у него действительно была, но не усопшая, и не в Индианаполисе, а вполне живая и в Борисоглебске. Звали ее Таня, и он не видел ее уже двадцать пять лет.

— После смерти жены, — исповедывался мне Крафт, — душе моей оставалось лишь одно: либо самоубийство, либо возврат к мечтам моей юности. Я не более чем старый дурень, укравший мечты дурня юного. Накупив красок и холстов, я переехал в Гринич-Вилидж.

— Детей у вас нет? — поинтересовался я.

— Ни одного, — грустно вздохнул Крафт.

Детей у него трое. И девять внуков. Старший сын, Илья, знаменитый инженер-ракетчик.

— Одна у меня в этом мире осталась родня — искусство, — сказал Крафт, — но беднее меня у искусства родственника нет.

Крафт вовсе не хотел сказать, что не имеет средств. Он подразумевал, что беден талантом. В деньгах, по его словам, он нужды отнюдь не знал. Бизнес, мол, в Индианаполисе очень выгодно продал.

— Да, так вы там что-то о шахматах извоили сказать? — напомнил он.

Вырезанные мною шахматы я захватил с собой, сложив в коробку из-под ботинок.

— Вот, — показал я ему фигурки, — только что их сделал. Мочи нет, до чего обновить хочется.

— Небось гордитесь, что хорошо играете, а?

— Да я уж и не помню, когда играл.

Играть-то мне приходилось, в основном, с моим тестем Вернером Нотом, начальником берлинской полиции. Я довольно регулярно обыгрывал его — по воскресеньям, когда мы с моей Хельгой его навещали. В турнире же участвовал только раз в жизни, и был это турнир сотрудников министерства народного просвещения и пропаганды. Я занял одиннадцатое место из шестидесяти пяти.

Вот в пинг-понг я играл куда лучше. Четыре года держал первенство министерства по пинг-понгу как в одиночной, так и в парной игре. В паре со мной играл Хайнц Шилдкнехт, специалист по пропаганде на Австралию и Новую Зеландию. Как-то раз мы с Хайнцем играли против пары, состоявшей из рейхслейтера Геббельса и обердинстлейтера Карла Гедериха. И мы «сделали» их со счетом 21: 2, 21: 1, 21:0.

История часто идет рука об руку со спортом.

У Крафта нашлась шахматная доска. Расставив на ней мои фигурки, мы сели за игру.

И тот толстый, шипастый, защитного цвета кокон, что я соткал вокруг себя, прохудился на швах, дал достаточную слабину, пропустив бледный лучик света.

Я ощутил вкус к игре и даже сумел напрячь интуицию и придумать достаточно интересных комбинаций, чтобы моему новому знакомому было интересно разделиться со мной.

После чего на протяжении года мы с Крафтом играли не менее трех партий в день. Отношения, сложившиеся между нами, трогательным образом заменяли тепло домашнего очага, в котором мы оба нуждались.

И у меня, и у Крафта пробудился вкус к еде. Мы начали совершать скромные гастрономические открытия в окрестных лавках, принося свои находки домой угостить друг друга. Как-то помню, когда появилась клубника, мы с Крафтом устроили такой гвалт, будто случилось второе пришествие Христа.

Особенно трогательной в наших отношениях оказалась ситуация с вином. Крафт разбирался в винах куда лучше меня и часто приносил к ужину какую-нибудь коллекционную диковинку, всю в пыли и паутине. Но, хотя подле его прибора всегда стоял наполненный бокал, старался Крафт лишь ради одного меня. Сам он был алкоголик и, позволь себе пропустить глоточек, ушел бы в загул не менее чем на месяц. Вот это и было правдой из того, что Крафт рассказывал о себе. Он вот уже шестнадцать лет как состоял в «Анонимных алкоголиках». И хотя

использовал их собрания как почтовые ящики для своих шпионских дел, питал неподдельную жажду к их духовному содержанию. И однажды совершенно искренне сказал мне, что величайшим вкладом Америки в мировую цивилизацию, вкладом, который запомнится на тысячи лет, было изобретение «Анонимных алкоголиков».

То, что институт, столь глубоко почитаемый им, Крафт использовал в своих шпионских целях, было типичным проявлением его шпионской шизофрении.

Типичным проявлением его шпионской шизофрении было и то, что, будучи верным моим другом, он тем не менее изыскал, в конечном счете, способ самым жестоким образом употребить меня в интересах своей страны.

12: СТРАННЫЕ ПОСЛАНИЯ В МОЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ:

Поначалу я лгал Крафту о том, кто я и что я. Но мы так быстро, так глубоко сдружились, что вскоре я выложил ему все.

— Какая несправедливость! — воскликнул Крафт. — Мне просто стыдно, что я — американец! Почему же правительство не вмешается и не заявит: «Хватит! Человек, которого вы оплевываете — герой!»

Крафт кипел возмущением и, насколько я могу судить, возмущением неподдельным.

— Никто меня не оплевывает, — возразил я. — Никто и по знает даже, что я до сих пор жив.

Крафту загорелось прочитать мои пьесы. Когда я объяснил, что не сохранил ни единого экземпляра, он заставил меня воспроизвести их ему сцену за сценой — заставил меня разыграть их для него.

Крафт нашел мои пьесы восхитительными. Может, он восторгался искренне, — не знаю. Мне-то они казались пресными, но не исключено, что ему действительно могли понравиться.

Его, по-моему, больше привлекали принципы искусства, чем то, как я воплотил их.

— Искусство, искусство, — рассуждал он вслух как-то вечером. — Не понимаю, почему я так поздно осознал, насколько оно важно. Ведь в юности я относился к искусству свысока. А теперь, думая о нем, хочется с рыданиями рухнуть на колени.

Стояла поздняя осень. Снова начался устричный сезон, и мы пиршествовали, купив по дюжине каждый. Со времени нашего знакомства с Крафтом прошел год.

— Цивилизации будущего, Говард, — говорил он мне, — лучшие цивилизации, чем наша, будут судить о каждом по его таланту художника. Найди археолог будущего наши работы, чудом сохранившиеся на какой-нибудь городской помойке, и о нас с тобой будут судить по уровню нашего творчества. И ничто иное в нашей жизни не будет иметь значения.

— Гм, — пробурчал я.

— Тебе надо снова начать писать, — продолжал Крафт. — Подобно тому, как кустик маргаритки расцветает цветком маргаритки, а куст розы — цветком розы, ты должен расцвести писателем, а я — художником. А все остальное в нашей жизни просто неинтересно.

— Покойники редко хорошо пишут, — отмахнулся я.

— Какой же ты покойник! — запротестовал Крафт. — Ты полон мыслей. Ты же можешь говорить часами напролет.

— Треп, — отмахнулся я.

— И никакой не треп! — возразил Крафт пылко. — Женщина — вот единственное, что тебе нужно, чтобы начать писать снова и лучше, чем когда-либо раньше.

— Что-что? — переспросил я. — Кто мне нужен?

— Женщина, — повторил Крафт.

— С чего тебе вдруг стукнуло в голову? Устриц переел? Ну, ладно, если ты заведешь женщину, то и я заведу. Идет?

— Э, мне уже не поможет, я слишком стар, — сказал Крафт, — а ты — нет.

И снова, пытаясь отделить действительность от фальши, я должен подчеркнуть, что он действительно в это верил. Он искренне желал, чтобы я начал писать, снова, и был убежден, что женщина может побудить меня к творчеству.

— Я почти уже готов пройти через унижение, неизбежное для меня, попытайся я показать себя мужчиной даме, если и ты согласишься обзавестись женщиной, — заявил Крафт.

— У меня есть женщина, — возразил я.

— У тебя была женщина. Это абсолютно разные вещи.

— Я не хочу говорить об этом, — сказал я.

— Но я все равно буду говорить об этом, — гнул свое Крафт.

— Ну и говори, — я встал из-за стола. — Играй в сваху, сколько влезет. А я пойду посмотрю, чем сегодня порадовала почта.

Крафт досадил мне, и я решил спуститься за почтой просто для того, чтобы дать улечься раздражению. Почта меня нисколько не интересовала. Я ее неделями вообще не вынимал. Да и получал-то я одни лишь чеки дивидендов, уведомления о собраниях акционеров, да рекламки всякой всячины, а также учебников и учебных пособий.

Почему именно учебников и учебных пособий? Однажды я пытался получить место преподавателя немецкого в частной школе в Нью-Йорке. Где-то году в 50-м.

Места я не получил, да не очень-то и хотелось. Я и подал-то заявление только, наверное, для того, чтобы доказать самому себе, что все еще существую как личность.

Подавая заявление, я вынужден был выкручиваться, заполняя положенные документы, и ложь моя столь очевидно была шита белыми

нитками, что администрация школы даже не удосужилась ответить, что я им не подошел. Как бы там ни было, но имя мое затесалось, видимо, в списки так называемых педагогов. Вот и пошли эти рекламки бесконечным потоком.

Сейчас в ящике скопилось почты за последние три-четыре дня.

Чек от компании «Кока-кола». Уведомление о собрании пайщиков «Дженерал моторс». Письмо от отделения «Стандард ойл» в Нью-Джерси с просьбой одобрить новую программу выплаты вознаграждения акциями моим должностным лицам. Рекламка восьмифунтовой гири, сделанной под школьный учебник.

Целью ставилось дать школьникам поупражняться на переменках. Рекламка подчеркивала, что по физической подготовке американский школьник уступал школьнику чуть ли не в любой стране мира.

Но рекламка странной гири оказалась отнюдь не самой странной вещью в моем почтовом ящике. Там оказались вещи еще куда более странные.

Прежде всего — письмо в стандартном официальном конверте из отделения Американского легиона имени Фрэнсиса Донована, г. Бруклин, штат Массачусетс.

А затем — какая-то плотно свернутая газетенка, отравленная из почтового отделения вокзала Гранд Централ.

Сначала я развернул газету. Это оказался номер «Уайт крисчен минитмен» («Белый партизан-христианин») — скабрезного, безграмотного, антисемитского, антинегритянского, антикатолического погромного листка, издававшегося преподобным Лайонелом Дж. Д. Джоунзом, доктором богословия и медицины. «Верховный суд, — гласила „шапка“, — стремится преврати. США в страну полукровок!»

И заголовок, набранный чуть помельче: «Красный Крест вливает белым негрскую кровь!»

Ну, меня такими заголовками не проймешь. Я, в конце концов, тем же самым зарабатывал на жизнь в Германии. А уж заглавие заметки в углу первой страницы — «Международное еврейство — единственный настоящий победитель второй мировой войны» — так совсем в былом стиле Говарда У. Кэмпбелла-младшего.

Затем я вскрыл письмо из Американского легиона. Оно оказалось следующего содержания:

Дорогой Говард!

С удивлением и огорчением узнал я, что ты еще жив. Как

подумаю, сколько хороших людей пало на второй мировой, а потом вспомню, что ты живешь и благоденствуешь в преданной тобой стране, так блевать тянет. Тебе будет приятно узнать, что личный состав нашего отделения Американского легиона единогласно постановил вчера потребовать, чтобы тебя либо предали смертной казни через повешение, либо выслали обратно в твою любимую Германию.

Коль уж я теперь знаю, где тебя найти, то скоро наведуясь. Приятно будет вспомнить старину.

Надеюсь, вонючая ты крыса, тебе приснится сегодня концентрационный лагерь Ордруф. Жаль, не спихнул тебя в яму с гашеной известью, пока мог.

Глубоко искренне твой,

Бернард Б. О'Хэа,

командир форпоста американских патриотов.

Копии:

Дж. Эдгару Гуверу, директору ФБР, Вашингтон, О. К.

Директору ЦРУ, Вашингтон, О. К.

Главному редактору, «Тайм», Нью-Йорк.

Главному редактору, «Ньюсуик», Нью-Йорк.

Главному редактору, журнал «Инфантри»^[3] Вашингтон, О. К.

Главному редактору, «Лиджн мэгэзин»^[4], Индианаполис, Индиана.

Председателю Комиссии Конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности, Вашингтон, О. К.

Главному редактору, «Уайт крисчен минитмен», Бликер-стрит, 395, Нью-Йорк.

Бернард Б. О'Хэа никто иной, как тот самый юнец, взявший меня в плен в самом конце войны. Это он проволоч меня по всему лагерю Ордруф, а потом вместе со мной угодил на обложку «Лайфа».

Как же он узнал мой адрес, ломал я себе голову, обнаружив его письмо в своем почтовом ящике в Гринич-Вилидж.

И, пробежав глазами номер «Уайт крисчен минитмен», убедился, что не один лишь Бернард О'Хэа нашел всеми забытого Говарда У. Кэмпбелла-

младшего. На третьей странице простенький заголовок «Американская трагедия» венчал следующий текст:

«Говард У. Кэмпбелл, великий писатель и один из бесстрашных патриотов в истории Америки, ныне влачит существование в нищете и одиночестве на чердаке дома номер 27 по Бетун-стрит. Такова судьба людей, у которых хватило мужества сказать правду о заговоре международных еврейских банкиров и международных еврейских коммунистов, которые не уймутся, пока безнадежно не загрязнят кровь каждого американца негрской или азиатской кровью».

13: ПРЕПОДОБНЫЙ ЛАЙОНЕЛ ДЖЭСОН ДЭВИД ДЖОУНЗ, ДОКТОР БОГОСЛОВИЯ И МЕДИЦИНЫ...

Я признателен Институту документации военных преступлений в Хайфе за предоставленные материалы, благодаря которым могу включить в свой рассказ биографию доктора Джоунза, издателя «Уайт крисчен минитмен».

Досье на него собрали обширное, хотя привлечению к ответственности за участие в военных преступлениях он не подлежит. Копаясь в сиих архивных сокровищах, я сумел достоверно установить следующие факты:

Преподобный Лайонел Джэсон Дэвид Джоунз, доктор богословия и медицины, родился в Хаверхилле, штат Массачусетс, в 1889 году и воспитывался как христианин-методист.

Он был младшим сыном зубного врача, внуком двух зубных врачей, братом двух зубных врачей и шурином трех. Он и сам подался в зубные врачи, но в 1910 году был исключен из зубоврачебной школы Питтсбургского университета. В наши дни истинную причину его исключения продиагностировали бы, по всей вероятности, как паранойю. В тысяча же девятьсот десятом году его отчислили за простую академическую неуспеваемость. Проявившуюся, однако, в симптомах далеко не простых.

Экзаменационные работы Джоунза были, наверное, длиннейшими в истории зубной медицины, в то же время имея к ней самое отдаленное отношение. Начинались они вполне здраво — на заданную тему. Но о каком бы предмете ни шла речь, Джоунз ухитрялся пересест на любимого конька, перекинуть мостик к собственной теории о том, что зубы негров и евреев убедительно свидетельствуют о вырождении обеих групп.

Дантистом он складывался высочайшего класса, и преподаватели надеялись, что со временем он перестанет заговаривать им зубы политикой. Но дело шло все хуже. Изыскания и экзаменационные работы Джоунза окончательно превратились в истерические призывы ко всем протестантам-англосаксам объединиться против еврейско-негритянского засилья.

Джоунза турнули в конце концов, когда он перешел к поискам

доказательств вырождения в зубах католиков и унитариев, а под матрасом у него обнаружили пять заряженных револьверов и штык.

Родители Джоунза отреклись от него, на что своих родителей так и не хватило.

Оставшись без гроша, Джоунз устроился помощником бальзамировщика в похоронном бюро братьев Шарф в Питтсбурге. Два года спустя он уже стал управляющим. Еще годом позже он женился на Хэтти Шарф, вдовой хозяйке заведения. Ей к тому времени исполнилось пятьдесят восемь, Джоунзу — двадцать четыре. Многие из тех, кто копался потом в его жизни, — а копались, в основном, неприятели, — вынуждены были заключить, что Джоунз и вправду любил свою Хэтти. Брак, продолжавшийся вплоть до кончины Хэтти в 1928 году, оказался счастливым.

Настолько счастливым, настолько удачным, настолько состоявшимся государством двоих, что все эти годы Джоунз почти и пальцем не повел, дабы предупредить англосаксов о нависшей над теми угрозе. Казалось, для выражения своих расовых принципов ему вполне хватало выходок при обработке определенных трупов, которые и в самых либеральных моргах показались бы делом вполне привычным и людям этой профессии свойственным. Времецко же выпало Джоунзу золотое не только в любви и в деньгах, но и в творчестве. В сотрудничестве с химиком доктором Ломаром Хорти Джоунз разработал рецептуры «Виверина», бальзамирующей жидкости, и «Джингива-Тру» — стимулирующего десны эликсира для зубных протезов, делающего их неотличимыми от настоящих зубов.

После кончины жены Джоунз ощутил потребность в возрождении. Возродилось же в нем то, что было заложено изначально. Джоунз превратился в подстрекателя расовой розни; из тех, о ком говорят: «из какой только щели выползли». Джоунз-то из своей щели выполз в 1928 году. Продав за восемьдесят четыре тысячи долларов похоронное бюро, он основал «Уайт кристчен минитмен».

Биржевой кризис 1929 года разорил его. Газета скончалась на четырнадцатом номере. Все четырнадцать бесплатно рассылались почтой по списку справочника «Кто есть кто?». Иллюстрировалась газета только лишь фотографиями и диаграммами зубов, и каждая статья комментировала те или иные текущие события в свете расово-дантистских теорий Джоунза.

В предпоследнем номере газеты Джоунз именовал себя в списке членов редакционной коллегии «Лайонел Дж. Д. Джоунз, доктор

медицины».

Снова, на этот раз в сорок лет, оставшись без гроша за душой, Джоунз ответил на объявление в профессиональном журнале похоронных бюро. В школе бальзамировщиков в Литл-Рок, штат Арканзас, открылась вакансия президента. Объявление дала вдова усопшего президента и владельца школы.

Джоунз получил и должность и вдову. Звали ее Мэри Элис Шуп. Она вышла за Джоунза в шестьдесят восемь лет.

И Джоунз вновь превратился в преданного мужа, счастливого, цельного и уравновешенного человека.

Школа, которую он возглавил, так незатейливо и именовалась — Школа бальзамирования города Литл-Рок в Арканзасе — и давала восемь тысяч в год убытку. Джоунз вывел это убыточное заведение из перенапряженной области обучения бальзамированию, продал ее недвижимость и переименовал в Библейский университет западного полушария. Занятий в университете не велось, никаких дисциплин не преподавалось, вся деятельность шла по почте. А заключалась она в присвоении ученых докторских степеней в области богословия. По сорок долларов штука в застекленной рамочке.

Джоунз и себе позаимствовал докторскую степень, из директорского, так сказать, фонда. И, возобновив после кончины второй жены издание «Уайт крисчен минитмен», явился в образе преподобного Лайонела Дж. Д. Джоунза, доктора богословия и медицины.

Также он написал и издал за собственный счет книгу, сочетавшую зубоврачебное дело не только с богословием, но и изящными искусствами. Книга вышла в свет под названием «Нет, Христос не был еврей!». Автор обосновал свое утверждение, воспроизведя в книге пятьдесят известных художественных изображений Христа. Как подчеркивал Джоунз, ни на одном из них ни зубы, ни челюсти Христа на еврейские не походили.

Первые номера возрожденного «Уайт крисчен минитмен» были такими же нечитаемыми, как и прежде. Но тут произошло чудо. Вместо четырех страниц «Минитмен» стал выходить на восьми. Хорошая бумага, чистый шрифт и качественный набор сделали газету броской и привлекательной. Зубные диаграммы уступили место фотографиям с мест различных событий, на страницах замелькали даты и подписи со всего света.

Ларчик открывался просто. И ясно. Джоунза завербовала и финансировала пропагандистская служба расправляющего плечи гитлеровского Третьего рейха. Новости, снимки, карикатуры и передовицы

поступали в его газету прямым из Германии, с нацистской пропагандистской мельницы в Эрфурте.

Не исключено, кстати сказать, что изрядную долю самых грязных из этих материалов я сам и писал.

Джоунз продолжал пропагандистскую деятельность в пользу Германии даже после вступления США во вторую мировую войну. Арестовали его лишь в июле 1942 года. Джоунзу и еще двадцати семи подсудимым были предъявлены обвинения в:

«Заговоре с целью подрыва боевого духа и лояльности личного состава сухопутных и военно-морских сил Соединенных Штатов, а также их доверия к официальным лицам страны и приверженности республиканской форме правления; заговоре с целью узурпации и злоупотребления свободой слова и печати для распространения изменнической пропаганды, исходя из убеждений в том, что любая страна, предоставляющая своим гражданам свободу слова, остается бессильной защитить себя от врагов, рядящихся в патриотов и стремящихся затруднить, осложнить, подорвать и уничтожить нормальный процесс отправления функций республиканского образа правления под личиной честной критики; заговоре с целью лишить правительство Соединенных Штатов верности и доверия личного состава сухопутных и военно-морских сил и народа в целом и тем самым подорвать возможности правительства защищать народ и страну от вооруженной агрессии извне, либо от внутренней измены».

Джоунза признали виновным и приговорили к четырнадцати годам, из которых он отсидел восемь. В 1950 году вышел из тюрьмы в Атланте состоятельным человеком.

Жидкость для бальзамирования «Виверин» и зубной эликсир «Джингива-Тру» пользовались на рынке товаров этих групп преобладающим успехом.

В 1955 году он возобновил издание «Уайт крисчен минитмен».

Еще пятью годами позже преподобный Лайонел Дж. Д. Джоунз, доктор богословия и медицины, полный жизни почтенный политический деятель, шустрый и ни о чем не сожалеющий семидесятилетний старик, почтил меня визитом.

Зачем я удостоил его столь подробной биографии со всей подноготной?

Затем, чтобы противопоставить себя дремучему полоумному расисту. Я не дремучий и не полоумный.

Те, чьи приказы я исполнял в Германии, были такими же дремучими и

полоумными, как доктор Джоунз. И я это знал.
Но их приказы исполнял все равно.
Прости меня, Боже.

14. ВИД С ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ...

Джоунз нанес мне визит неделю спустя после того, как я впервые получил столь огорчительную почту. Я пытался повидать его первым — ведь гнусный листок издавался в двух шагах от моего чердака, вот я и отправился в редакцию требовать опровержения.

Джоунза не оказалось на месте. Вернувшись домой, я обнаружил в ящике целую пачку писем, в основном от подписчиков «Уайт крисчен минитмен». В основном о том, что я не забыт и без друзей не останусь. Женщина из Маунт-Вернона, штат Нью-Йорк, сулила мне Трон Небесный. Человек из Норфолка провозглашал меня новым Патриком Генри. Женщина из Сент-Пола прислала два доллара, чтоб мне было на что продолжать свое благородное дело. И извинилась — последние прислала, больше нет. Человек из Бартесвилля, Оклахома, приглашал меня бросить Нью-Йорк и поселиться в их Божьем краю.

Я и представлении не имел, как Джоунз обо мне пронюхал.

Крафт тоже изумлялся. То есть, делал вид. Ему-то изумляться было нечему — это он написал Джоунзу, как анонимный патриот-единомышленник, сообщить радостную новость о том, что я, оказывается, жив. Он же и попросил Джоунза выслать подарочный экземпляр его великой газеты Бернарду Б. О'Хэа на адрес отделения Американского легиона имени Фрэнсиса Донована.

У Крафта возникли планы на мой счет.

И в то же самое время он писал мой портрет, безусловно доказывавший, что он относился ко мне с пониманием и сочувствием, с инстинктивной симпатией куда более глубокой, чем могла бы быть вызвана одним лишь желанием обвести простака вокруг пальца.

Я позировал Крафту, когда явился с визитом Джоунз. Крафт опрокинул бутылку со скипидаром, и я открыл дверь проветрить.

Внезапно в открытую дверь донеслось с лестницы странное заунывное бормотание.

Выйдя на площадку, я взгляделся вниз, в частично облицованный дубом, частью оштукатуренный, извивающийся улиткой лестничный пролет. И увидел лишь руки поднимавшихся по лестнице четверых человек. Руки, которыми они перебирали по перилам.

Джоунз и трое его друзей.

Заунывное бормотание, привлечшее мое внимание, звучало в такт

движению рук. Продвинувшись по перилам фута на четыре, руки замирали, а затем возникало бормотание.

Это они, запыхавшись, считали вслух до двадцати. Двое из свиты Джоунза — телохранитель и секретарь — были сердечники в тяжелой форме. Чтобы старое изношенное сердце не сдало, приходилось через каждые несколько шагов останавливаться и отмерять передышку, считая до двадцати.

Телохранителем у Джоунза состоял Август Крапптауэр, бывший вице-бундесфюрер германо-американского Бунда. Шестидесятитрехлетний Крапптауэр, отсидевший одиннадцать лет в Атланте, еле держался на ногах, но все еще выглядел неоправданно моложавым, будто регулярно пользовался услугами косметолога из морга. Величайшей вехой его жизни осталось проведение в 1940 году встречи Бунда с ку-клукс-кланом в Нью-Джерси, где он выступил с заявлением, что папа римский — еврей, и евреи держат закладную на Ватикан стоимостью пятнадцать миллионов долларов. Ни смена пап, ни одиннадцать лет в тюремной прачечной не изменили его взглядов ни на йоту.

В качестве секретаря Джоунз держал лишенного сана священника-паулиста^[5] Патрика Кили. «Отец Кили», как его по-прежнему именовал хозяин, был семидесятитрехлетний алкоголик. До войны он состоял капелланом стрелкового клуба в Детройте, созданного, как выяснилось впоследствии, агентами нацистской Германии. Члены клуба, похоже, жили мечтой об отстреле евреев. Однажды молитву отца Кили на собрании членов клуба записал репортер местной газеты, которая полностью опубликовала ее текст на следующее же утро. Молитва адресовалась Богу столь злобному и ханжескому, что не могла не привлечь ошеломленного внимания папы Пия Одиннадцатого.

Кили лишили сана, а папа Пий обратился с пространной энцикликой к Иерархии Американской католической церкви, гласившей, помимо прочего:

«Ни один истинный католик не позволит себе принять участия в травле своих соотечественников-евреев. Любой удар, наносимый по евреям, есть удар по нашей общей человечности».

Тюрьмы Кили избежал, хотя многие из его близких друзей ее не миновали. Пока друзья наслаждались паровым отоплением, чистым бельем и регулярным питанием за государственный счет, Кили дрожал от холода, запаршивел от грязи, голодал и упивался вусмерть, шляясь от притона к притону по всей стране. Так бы ему до сих пор болтаться по притонам либо лежать в убогой могиле, не подбери его Джоунз и Крапптауэр.

К слову сказать, молитва, прославившая Кили, была ничем иным, как парафразом издательского стишка, незадолго до того сочиненного и прочитанного мною на коротких волнах. И уж коль скоро я взялся восстанавливать свою истинную роль в литературе, да позволено мне будет заметить, что и заявления Крапштауэра о папе и о заложенном евреями Ватикане также были плодом моей фантазии.

Итак, эта публика шла наносить мне визит, бормоча: «Один, два, три, четыре...»

И хотя поднимались они так медленно, четвертый участник делегации отстал совсем далёко от них.

Четвертой была женщина. Но я видел лишь ее бледные пальцы без колец.

Первой шла рука Джоунза. Вот она сверкала кольцами, что рука византийского принца. Перечень ювелирных изделий на этой длани показал бы два обручальных кольца, кольцо с сапфиром, преподнесенное в 1940 году вспомогательным филиалом матерей Ассоциации воинственных неевреев имени Поля Ревера; бриллиантовую свастику, выложенную на ониксе, подаренную в 1939 году бароном Манфредом Фрейхером фон Киллингером, тогдашним германским генеральным консулом в Сан-Франциско; и американского орла, вырезанного в яшме и выложенного серебром — изделие японской работы, подношение от Роберта Стерлинга Уилсона.

Уилсон был «Черным Фюрером Гарлема», цветным, который был в 1942 году осужден к тюремному заключению как японский шпион.

Украшенная кольцами длань Джоунза оторвалась от поручня перил. Сбежав вниз по лестнице, Джоунз сказал что-то женщине — слов я не разобрал — и быстро взлетел обратно по ступенькам. Просто огурчик — в свои-то семьдесят.

Поднявшись на площадку и оказавшись лицом к лицу со мной, улыбнулся, показывая мне белоснежные зубы, ухоженные эликсиром «Джингива-Тру».

— Кэмпбелл? — спросил он у меня, лишь чуточку запыхавшись.

— Да, — ответил я.

— Я — доктор Джоунз. И я приготовил вам сюрприз.

— Я уже видел вашу газету, — сообщил ему я.

— Да нет, я не о газете. Кое-что получше.

Теперь на площадку вползли отец Кили и вице-бундесфюрер Крапштауэр, задыхаясь и прерывистым шепотом считая до двадцати.

— Получше? — переспросил я, готовясь выдать ему так, чтобы он раз

и навсегда даже думать забыл обо мне, как об одном из своих.

— Женщина, которую я привел... — начал Джоунз.

— При чем тут женщина?

— ...ваша жена, — закончил он фразу.

— Я связался с ней, — сказал Джоунз, — и она умолила меня не говорить вам ничего. Она настаивала, чтобы все именно так и было, как снег на голову.

— Чтобы увидеть самой, есть ли еще место для меня в твоей жизни, — сказала Хельга. — А если нет, я просто попрощаюсь снова, уйду и больше никогда не потревожу тебя.

15: МАШИНА ВРЕМЕНИ...

Если бледные пальцы без колец, сжавшие поручень перил, принадлежали моей Хельге, то это были пальцы сорокапятилетней женщины. Женщины средних лет, шестнадцать лет пробывшей в русском плену. Если это были пальцы моей Хельги.

Невероятно — как моя Хельга сохранила красоту и обаяние.

Ведь если Хельга пережила штурм русскими Крыма, избежала смерти от всех этих ползающих, бомбящих, гремящих, воющих, летающих игрушек войны, убивающих быстро, ее неизбежно поджидал иной смертельный рок, убивающий медленно, словно проказа. Мне и догадываться о нем нужды не было. Общеизвестно, что неизбежно случалось с женщинами, взятыми в плен на русском фронте — всего лишь эпизод в мрачном повседневном бытии любой исключительно современной, исключительно научной, исключительно асексуальной нации, ведущей исключительно современную войну.

Переживи моя Хельга войну, ее наверняка загнали под дулом автомата в лагерную рабочую бригаду. В одну из бесчисленных толп забитых, озлобленных, бесформенных, потерявших надежду существ в одежде из мешковины, разбросанных по всей матушке-России. Заставили копать свеклу на морозе, разбирать развалины, таскать повозки, превратив в бесполое, безымянное существо с растоптанными ножищами и расплюснутыми пальцами.

— Моя жена? — переспросил я Джоунза. — Не верю.

— Если я лгу, это достаточно легко доказать, — невозмутимо ответил Джоунз. — Взгляните сами.

Я спускался по лестнице ровными твердыми шагами.

И увидел ее.

Она улыбнулась мне, задрав подбородок, чтобы я ясно увидел и различил черты ее лица.

Волосы ее были белы как снег.

Во всем остальном она была моя Хельга, совершенно не тронутая временем.

Во всем остальном вся такая же стройная и цветущая, какой была моя Хельга в ночь свадьбы.

16: ХОРОШО СОХРАНИВШАЯСЯ ЖЕНЩИНА...

Мы рыдали как дети и поднимались ко мне на чердак, не разжимая объятий.

Минуя отца Кили и вице-бундесфюрера Крапптауэра, я заметил, что отец Кили рыдает тоже. Крапптауэр стоял навтыжку, воздавая почести символу англосаксонской семьи. Джоунз, поднявшийся несколькими ступеньками выше, сиял от счастья: задуманное им чудо удалось.

И все потирал свои изукрашенные кольцами руки.

— Моя... моя жена, — объяснил я старому другу Крафту, когда мы с Хельгой переступили порог.

И Крафт, пытаясь сдержать рыдания, так стиснул зубами черенок своей остывшей трубки из кукурузного початка, что перекусил ее пополам. Он не расплакался, но был на грани слез. По-моему — совершенно искренне.

Джоунз, Крапптауэр и Кили вошли вслед за нами.

— Как же случилось, — обратился я к Джоунзу, — что именно вы вернули мне жену?

— Фантастическое стечение обстоятельств, — сказал Джоунз. — Сначала я узнаю, что живы вы, а месяцем позже — что жива ваша жена. Так могу ли я воспринимать подобное совпадение иначе, чем дело рук Господних?

— Право, не знаю, — ответил я.

— Небольшая часть нашего тиража расходуется в Западной Германии, — продолжал Джоунз. — Прочитав заметку о вас, один подписчик запросил телеграммой, известно ли мне, что ваша жена только что появилась как беженка в Западном Берлине.

— Почему вас, а не меня? — спросил я. И обернулся к Хельге.

— Любимая, — сказал я по-немецки. — Почему ты не дала мне телеграмму?

— Разлука длилась так долго — я так долго была мертвой, — ответила Хельга по-английски. — И я думала, ты создал себе новую жизнь, в которой нет для меня места. Я надеялась, что так оно и есть.

— В моей жизни ничего нет, кроме места для тебя, — возразил я. — И никому, кроме тебя, его не занять.

— Столько всего нужно рассказать, столько всего... — прижалась ко

мне Хельга.

Я с изумленным восторгом смотрел на нее. Кожа Хельги была чистой и мягкой. Для сорокапятилетней женщины Хельга удивительно хорошо сохранилась.

Что казалось тем более удивительным в свете ее рассказа о том, как прошли для нее последние пятнадцать лет.

Она попала в плен в Крыму, и ее изнасиловали, рассказывала Хельга. Затем в товарном вагоне принесли на Украину и заставили работать.

— Ослабевших, опустившихся, нас повенчали с вечной грязью, — говорила Хельга. — Когда война кончилась, никому даже не пришло в голову сказать нам об этом. Нашей трагедии было суждено длиться вечно. Мы даже по документам нигде не числились. Нас просто гоняли бесцельно по разрушенным деревням. Любому, кому требовалось выполнить какую-нибудь тупую физическую работу, достаточно было ткнуть пальцем и заставить делать ее нас.

Хельга разомкнула объятия, чтобы сопровождать свою повесть более выразительной жестикующей. Я подошел к окну, чтобы слушать ее и смотреть сквозь немытые стекла на скрюченные ветки дерева, на которых ни листьев не росло, ни птиц никогда не бывало.

В густом слое скопившейся на оконном стекле пыли были грубо прочерчены свастика, серп и молот, звезды и полосы. Все три символа нарисовал я с месяц назад, завершая спор с Крафтом о патриотизме. Я тогда восторженно описывал каждый из них, демонстрируя Крафту, как понимают патриотизм, соответственно, нацист, коммунист и американец.

— Ура, ура, ура, — твердил я.

Тем временем Хельга все продолжала свою сагу, ткала на обезумевшем челноке мировой истории повесть одной человеческой жизни. Проработав в трудовой бригаде два года, она сбежала, объясняла Хельга по дню позже ее поймали недоумки-азиаты с автоматами и ищейками.

Три года ее держали в тюрьме, говорила Хельга, а потом послали в Сибирь переводчиком и регистратором в большой лагерь военнопленных, где все еще содержались восемь тысяч эсэсовцев, хотя война уже много лет, как кончилась.

— В лагере я провела восемь лет, — сказала Хельга. — Монотонность повседневного существования, слава Богу, просто загипнотизировала меня. Мы вели безупречную картотеку на всех пленных, на все эти бессмысленные жизни за колючей проволокой. Эсэсовцы, когда-то такие юные, поджарые и лютые, обмякли и ныли. Мужья без жен, отцы без

детей, лавочники без лавок, ремесленники без ремесел.

Мысли о сломленных, забитых эсэсовцах заставили Хельгу задать себе загадку Сфинкса: «Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, вечером на трех?»

— Человек, — ответила Хельга хрипло.

Затем она рассказала, как ее репатриировали — весьма своеобразным образом. Не в Берлин, а в Дрезден, в Восточную Германию. И определили на табачную фабрику, работу на которой Хельга угнетающе подробно описала.

Одним прекрасным днем Хельга улизнула в Восточный Берлин и перешла в Западный сектор. Еще несколько дней — и она летела ко мне.

— Кто купил тебе билет? — спросил я.

— Ваши почитатели, — тепло ответил Джоунз. — Но вам вовсе не следует считать себя обязанным. Это они считают, что обязаны вам благодарностью, которую никогда не смогут полностью воздать.

— Это за что же?

— За мужество, с которым вы говорили правду в годы войны, когда все остальные лгали, — объяснил Джоунз.

17: АВГУСТ КРАППТАУЭР УХОДИТ В ВАЛЬГАЛЛУ...

Хотя никто его не просил об этом, вице-бундесфюрер Крапптауэр спустился вниз, чтобы взять из лимузина Джоунза багаж моей Хельги. Вид нашей с Хельгой встречи заставил его вновь ощутить себя юным и рыцарственным.

Мы поняли, что он затеял, лишь когда он вырос в дверях с чемоданом в руках. Джоунз и Кили пришли в ужас — сердце у старика и так тянуло с перебоями, еле-еле.

Лицо вице-бундесфюрера стало цвета томатного сока.

— Вот ведь дурень! — воскликнул Джоунз.

— Да нет, я в полном порядке, — улыбнулся в ответ Крапптауэр.

— Почему Роберта не послал тащить вещи? — спросил Джоунз.

Роберт, его шофер, остался внизу с машиной. Роберт был цветной семидесяти трех лет от роду. Тот самый Роберт Стерлинг Уилсон, бывший арестант, японский шпион и «Черный Фюрер Гарлема».

— Роберта надо было послать, — стоял на своем Джоунз. — Право же, ты не имеешь права так рисковать жизнью.

— Для меня большая честь рисковать жизнью ради жены человека, служившего Адольфу Гитлеру так достойно, как Говард Кэмпбелл, — ответил Крапптауэр.

И рухнул за смертью.

Мы пытались откачать его, но бесполезно. Крапптауэр был безнадежно мертв. У него отвисла челюсть, придав лицу непристойно слабоумный вид.

Я слетел на второй этаж, где жили доктор Авраам Эпштейн с матерью. Доктор оказался дома. Он обошелся с усопшим беднягой Крапптауэром довольно жестко, заставив его показать нам, насколько бесповоротно он действительно умер.

Поскольку Эпштейн был еврей, я подумал, как бы Джоунз и Кили не запротестовали по поводу того, как он тряс и шлепал Крапптауэра. Но оба престарелых фашиста были по-детски почтительны и беспомощны.

Единственное, что сказал Джоунз Эпштейну, когда тот окончательно констатировал смерть, было:

— Я сам дантист, доктор.

— Правда? — буркнул Эпштейн. Его это мало волновало. Он пошел к

себе вызывать «скорую помощь».

Джоунз накрыл Крапптауэра одним из моих армейских одеял.

— Надо же такому случиться, как только у него снова пошло все на лад, — вздохнул он.

— В каком смысле? — поинтересовался я.

— Он снова создал небольшую организацию, — объяснил Джоунз. — Совсем небольшую, но преданную, верную и надежную.

— Как она называется?

— «Железная гвардия белых сынов американской конституции», — отчеканил Джоунз. — Крапптауэр обладал истинным дарованием выковырять из обыкновенных юнцов дисциплинированную спаянную силу, — и Джоунз печально покачал головой. — А ребята как его понимали!

— Он любил молодежь, а молодежь любила его, — все еще рыдая, проговорил сквозь слезы отец Кили.

— Вот эпитафия, достойная памятника на его могиле, — одобрил Джоунз. — Он работал с молодежью у меня в подвале. Видели бы, как он там все для них оборудовал, для простых пареньков из всех слоев общества.

— Которые иначе бы попали под влияние улицы и испортили бы себе жизнь, — добавил отец Кили.

— Крапптауэр был одним из самых пылких ваших поклонников, — сказал мне Джоунз.

— Вот как?

— Ни одной вашей передачи не пропустил, когда вы вещали по радио. Попав в тюрьму, первым делом собрал коротковолновый приемник, чтобы по-прежнему вас слушать. И каждый день так и бурлил, пересказывая то, что услышал от вас предыдущим вечером.

Я только хмыкнул в ответ.

— Вы были наш светоч, господин Кэмпбелл, — пылко воскликнул Джоунз. — Да представляете ли вы, как озаряли наш путь сквозь все эти мрачные годы?

— Неа, — буркнул я.

— Крапптауэр питал надежду, что вы примете пост офицера по воспитанию идеала в Железной гвардии, — продолжал Джоунз.

— Я там состою капелланом, — вставил Кили.

— О, кто же, кто же, кто же возглавит теперь Железную гвардию? — воскликнул Джоунз. — У кого достанет мужества подхватить факел из рук павшего?

В дверь громко и резко застучали. Открыв, я увидел на пороге шофера Джоунза, старого сморщенного негра, в желтых глазах которого застыла злоба. Шофер был одет в черную форму с белыми кантами и портупеей, на которой болтался никелированный свисток. Им голове его красовалась фуражка люфтваффе без кокарды, на руках — черные кожаные краги.

Нет, этот старый курчавый негр — совсем не дядя Том. В его походке легко угадывался артрит, но вошел он, заткнув большие пальцы рук за пояс портупей, выпятив подбородок и не сняв фуражки.

— Все в порядке? — требовательно спросил он Джоунза. — Че вы тут застряли?

— Не совсем, — ответил Джоунз. — Умер Август Крапптауэр.

Черный Фюрер Гарлема и бровью не повел.

— Все помирают, — лишь покачал он головой. — Кто же переймет с нас факел, как все помрем?

— Вот и я себя о том же спрашиваю, — вздохнул Джоунз и представил меня Роберту.

— Слыхал за вас, — сказал Роберт, не подавая мне руки. — Но вас самих никогда не слухал.

— Что ж, — пожал я плечами, — на всех сразу не угодишь.

— Мы были на разной стороне, — объяснил Роберт.

— Ясно, — сказал я. Я о нем ничего не знал, и по мне он мог быть на любой стороне, какой ему угодно.

— Моя сторона была цветная, — объяснил Роберт. — Я был за японцев.

— Угу, — сказал я.

— Вы были нужны нам, а мы вам. — В виду имелась германо-японская ось периода второй мировой войны. — Но все равно оставалось много такого, где наша, так сказать, не могла сговориться.

— Да, пожалуй, так.

— Это я к тому, что вы вроде чой-то там на цветных клепали.

— Ну, будет, будет, — умиротворяюще воскликнул Джоунз. — Что толку в раздорах между своими. Задача в том, чтобы объединяться.

— Я просто хочу сказать ему за то, за что говорю нам, — гнул свое Роберт. — То же, за что я говорю сейчас вам, я повторяю каждое утро этому преподобному жантильмену. Подаю ему горячей каши на завтрак и говорю: «Все одно, цветной народ вспрянет в праведном гневе и захватит весь мир. А белым наконец выйдет крышка!»

— Ну, хорошо, хорошо, Роберт, — Джоунз был весь терпение.

— Цветные заимеют собственную водородную бомбу, — твердил

Роберт. — Уже сейчас ее комстрячат. Вот скоро придет черед Японии жахнуть. Все остальные цветные предоставят ей честь жахнуть первой цветной бомбой.

— Кого? — поинтересовался я.

— Китай, верней всего.

— Таких же цветных?

— Кто вам сказал, будто китайцы — цветные? — с жалостью посмотрел на меня Роберт.

18: ПРЕКРАСНАЯ ГОЛУБАЯ ВАЗА ВЕРНЕРА НОТА...

Наконец мы с Хельгой остались одни.

И оробели.

Я-то более чем оробел. Будучи уже весьма в годах и прожив столько лет монахом, я просто боялся подвергать испытанию свои возможности любить. Страхи мои лишь увеличивались тем, как много черт неувядающей юности чудотворно сохранила моя Хельга.

— Что ж, как говорится, узнаем друг друга заново, — сказал я. Изъяснялись мы по-немецки.

— Да, — Хельга отошла к окну, разглядывая патриотические символы, прочерченные мною в оконной пыли. — Какой из них теперь твой, Говард?

— Извини?

— Серп и молот, свастика, звезды и полосы. Что из них тебе по душе?

— Спроси лучше о музыке.

— Что? — не поняла Хельга.

— Спроси, какая мне теперь по душе музыка. У меня есть взгляды на музыку. Политических взглядов у меня нет.

— Ясно. Ну, хорошо, какая музыка тебе по душе теперь?

— «Белое Рождество», — ответил я. — «Белое Рождество» Бинга Кросби.

— Извини, но что это?

— Мое любимое музыкальное произведение. Так его люблю, что держу двадцать шесть пластинок с его записью.

— Вот как? — Хельга смотрела на меня отсутствующим взглядом.

— Это... это шутка у меня такая приватная, — замялся я.

— О, да?

— Приватная, — повторил я. — Я ведь так долго был один, что весь стал сугубо приватным. Настолько, что удивляюсь, когда кто-нибудь понимает хоть единственное сказанное мною слово.

— Я пойму, — нежно сказала Хельга. — Дай мне немного времени — совсем немного — и я пойму все, что бы ты ни сказал. Как раньше. — Она пожала плечами. — У меня тоже есть свои собственные приватные шутки...

— С этой минуты, — перебил ее я, — у нас снова будет приватность

на двоих. Как раньше.

— Как чудесно!

— Снова государство двоих.

— Да. Скажи мне...

— Все, что спросишь.

— Я знаю, как погиб отец, но ничего не смогла узнать ни о матери, ни о Рези. Ты что-нибудь знаешь?

— Ровным счетом ничего.

— Когда ты видел их в последний раз?

Подумав, я вспомнил точно, когда в последний раз видел родных Хельги: отца, мать и ее младшую сестру Рези, хорошенькую и большую фантазерку.

— Двенадцатого февраля 1945 года.

И я рассказал ей о событиях того дня.

Февраль выдался холодный, мороз пробирал до костей. Укрыв мотоцикл, я отправился навестить родню жены, семью Вернера Нота, начальника берлинской полиции.

Вернер Нот жил в пригороде, довольно далеко от районов бомбежек. Жил с женой и дочерью в белом обнесенном стеной доме, напоминавшем своим монолитным приземистым величием гробницу римского патриция. За пять лет тотальной войны в этом доме ни единое оконное стекло не треснуло. Высокие, глубоко посаженные окна южной стороны дома выходили в сад внутреннего двора. Северной стороной дом смотрел на памятники, ломаной линией возвышавшиеся над развалинами Берлина.

Я был в форме. На поясе висел крохотный пистолетик и огромный вычурный парадный кортик. Я редко надевал форму, но имел право ношения ее — голубой с золотым шитьем формы майора Вольного американского корпуса.

Вольный американский корпус существовал в фантазиях нацистов, фантазиях о боевой части, укомплектованной, в основном, американскими военнопленными, предназначенной сражаться исключительно на русском фронте. Боевая машина с безупречным духом, воодушевленная преданностью западной цивилизации и ненавистью к монгольским ордам.

Хотя, именуя эту воинскую часть нацистскими бреднями, я впадаю в шизофрению, ибо сам мысль о ее создании и подал, сам разработал униформу и знаки различия, сам сочинил устав, начинавшийся так:

«Я, подобно моим чтимым американским предкам, верю в истинную свободу...»

Не сказал бы, что создание Вольного американского корпуса

увенчалось грандиозным успехом. Среди американских военнопленных нашлось лишь трое добровольцев. Что с ними случилось — Бог весть. По всей вероятности, уже погибли к тому времени, как я собрался навестить тестя, так что из всего личного состава корпуса оставался в живых один лишь я.

Когда я поехал к Нотам, русские уже стояли всего лишь в двадцати милях от Берлина. Война почти что закончена, решил я, пора кончать и мою шпионскую деятельность. Мундир я надел, чтобы пускать пыль в глаза немцам, попытайся те не дать мне выехать из Берлина. Тючок со штатским костюмом я привязал к багажнику краденого мотоцикла.

Визит к Нотам вовсе не был ни маневром, ни хитростью. Мне искренне хотелось попрощаться с ними. Они отнюдь не были мне безразличны, я жалел их и даже по-своему любил.

Железные ворота огромного белого особняка были распахнуты настежь. Подле них, уперев в бока руки, стоял сам Вернер Нот, надзираая за работой польских и русских рабынь. Рабыни грузили три запряженных лошадьми фургона сундуками и мебелью из дома.

Лошадки были рыжей масти, мелкой монгольской породы — трофеи первых дней русской кампании.

Надсмотрщиком у рабынь был толстый голландец средних лет в потрепанном деловом костюме.

И охранял их высокий старик с однозарядным штурцером времен франко-прусской войны.

На впалой груди старика болтался Железный Крест.

Из дома, шаркая, выползала рабыня. В руках у нее была голубая ваза, до того прекрасная, что от иге исходило сияние. Рабыня была обута в матерчатые сабо на деревянной подошве. Безымянное, безвозрастное, бесполое существо в лохмотьях с глазами, что устрицы, и обмороженным носом в бело-красных пятнах.

Казалось, она вот-вот уронит вазу, просто заснет на ходу, уйдя в себя, и ваза выскользнет из рук.

Осознав опасность, тесть взвился, будто сработала наставленная на взломщика сигнализация. Вопя во весь голос, он призывал Господа сжалиться над ним хоть раз, пробудив здравый смысл хоть раз, и хоть раз показать ему, Ноту, хотя бы еще одного толкового и энергичного человека, помимо него самого.

Нот вырвал вазу из рук ошарашенной женщины. На грани слез и не стыдясь этого, он требовал всеобщего восхищения голубой вазой, чуть было не ушедшей из мира из-за тупости и лени.

Обтрепанный голландец, бывший у рабынь за старшего, ринулся к несчастной, слово в слово и вопль в вопль повторяя всю тираду тестя. За ним подтянулся и дряхлый солдат, демонстрируя силу, которую в случае надобности к ней могут применить.

Наказали ее весьма своеобразно. Бить не стали.

Но лишили чести носить какие-либо еще вещи Нота.

Поставили в сторону, в то время как остальным с полным доверием предоставили возможность продолжать перетаскивать сокровища. То есть, наказание ее заключалось в том, чтобы выставить последней душой. Дали, мол, шанс приобщиться к цивилизации, а она его запорола.

— Я приехал попрощаться, — сказал я Ноту.

— Прощай, — ответил Нот.

— Ухожу на фронт.

— Прямо сюда, — показал он на восток. — Без труда дойдешь пешком. За день доберешься, даже если будешь по дороге собирать лютики.

— Может, больше не увидимся, — напомнил я.

— Ну и что?

— Ничего, — пожал я плечами.

— Вот именно, — кивнул Нот. — Ничего оно и есть ничего.

— Можно спросить, куда вы переезжаете? — осведомился я.

— Я остаюсь. Жена и дочь отправятся к брату под Кёльн.

— Могу я чем-либо помочь?

— Можешь. Пристрели собаку Рези. Ей не выдержать дороги. А мне она не нужна, да и не могу я о ней заботиться и с ней возиться, как она привыкла у Рези. Так что пристрели ее, будь любезен.

— Где она?

— Наверное, в музыкальном салоне вместе с Рези, Рези знает, что собаку решено пристрелить, и мешать тебе не будет.

— Хорошо.

— Эффектная у тебя форма.

— Спасибо.

— Не сочти за бестактность, но каких она войск? — спросил Нот.

Раньше он меня в этой форме никогда не видел.

Я объяснил. И показал эмблему на рукоятке кинжала. Эмблема, выложенная серебром по ореховому дереву, являла Американского орла со свастикой в когтях правой лапы, пожиравшего змею, зажатую в когтях левой. Змея должна была изображать международный еврейский коммунизм. Голову орла венчали тринадцать звездочек,

символизировавших тринадцать первоначальных американских колоний. Эскиз эмблемы набросал я сам, но, поскольку рисую неважно, вместо пятиконечных звезд США нарисовал шестиконечные звезды Давида. Серебряных дел мастер скрупулезно воспроизвел мои звезды ничего не меняя, зато изрядно потрудился, приводя в божеский вид орла.

Вот на звезды мой тесть и обратил внимание.

— Они — символ тринадцати евреев в кабинете Франклина Рузвельта, — заметил Нот.

— Остроумно сказано, — оценил я.

— А все думают, у немцев нет чувства юмора, — сказал Нот.

— Германия — самая непонятная в мире страна, — ответил я.

— Ты — один из очень немногих иностранцев, сумевших нас понять.

— Надеюсь, я заслужил этот комплимент, — ответил я.

— Но с большим трудом. Ты разбил мне сердце, женившись на моей дочери. Я мечтал иметь зятем немецкого солдата.

— Что ж, извините.

— Ты сделал ее счастливой.

— Надеюсь, что да.

— И я возненавидел тебя больше. Счастье на войне неуместно.

— Что ж, извините, — повторил я.

— Из-за того, что я так тебя ненавидел, я стал изучать тебя, — продолжал Нот. — Ловил каждое твое слово. Ни одной передачи не пропустил.

— А я и не знал.

— Всего никто не знает, — ответил Нот. — Вот ты, например, мог знать, что чуть ли не до настоящей секунды ничто не обрадовало бы меня больше, чем возможность уличить тебя в шпионаже и подвести под расстрел?

— Нет, не мог, — согласился я.

— А знаешь, почему мне теперь безразлично, шпионил ты или нет? Вот признайся ты мне сейчас, что шпионил, и мы по-прежнему будем продолжать разговаривать, как ни в чем не бывало, вот как сейчас разговариваем. И я дал бы тебе спокойно уйти куда там шпионы после войны уходят. А почему, знаешь? — повторил он вопрос.

— Нет, — ответил я.

— Потому, что ты нипочем не мог работать на врага лучше, чем работал на нас, — объяснил Нот. — Потому, что я осознал: почти все мои нынешние убеждения, те самые, которые избавляют меня от стыда за все, сказанное и сделанное мною в бытность мою нацистом, я почерпнул не у

Гитлера, и не у Геббельса, и не у Гиммлера, а — у тебя! — Нот взял меня за руку. — Ты, один лишь ты удержал меня от вывода, что Германия сошла с ума.

Резко отвернувшись, Вернер Нот оставил меня и подошел к пучеглазой женщине, чуть было не уронившей голубую вазу. Она так и стояла у стены, где приказали, оцепенело изображая наказанную тупицу.

Нот встряхнул ее за плечи, надеясь вытрясти из нее хоть крупицу разума. И показал на другую рабыню, которая несла вырезанную из дуба уродливую китайскую собаку. Несла осторожно, словно грудного младенца.

— Вот, водишь? — спросил Вернер Нот тупицу. Нет, у него и в мыслях не было над ней измываться. Он лишь стремился воспитать из нее более осмысленное, более полезное существо. Несмотря на всю ее тупость. — Видишь, да? — спросил он снова, спросил проникновенно, умоляюще, от души стараясь помочь. — Вот как обращаются с ценными вещами.

19: МАЛЕНЬКАЯ РЕЗИ НОТ...

Пройдя в музыкальный салон пустеющего дома Вернера Нота, я застал там маленькую Рези с собакой.

Маленькой Рези было тогда десять лет. Она свернулась клубочком в глубоком кресле с подголовником подле окна. Окно выходило не на развалины Берлина, а в сад внутреннего дворика, на покрытые кружевным инеем верхушки деревьев.

Дом не топили. И Рези укуталась в пальто и шарф, натянула толстые шерстяные чулки. Уложенный чемоданчик стоял рядом. Рези была готова к отъезду, как только погрузят фургоны.

Сняв перчатки, она аккуратно сложила их на подлокотнике кресла. Перчатки она сняла, чтобы удобнее было ласкать лежавшую у нее на коленях таксу, на скудном военном пайке облысевшую и отекающую так, что почти не могла двигаться.

Она была похожа на какую-то первобытную амфибию, предназначенную возиться в тине. Когда Рези гладила ее, карие глаза таксы загорались слепым экстазом. Жила она лишь ощущениями, рождаемыми медленными движениями кончиков пальцев по ее шкуре.

Я плохо знал Рези. Однажды, в самом начале войны, она заставила мою кровь застыть в жилах, шепеляво назвав меня американским шпионом. С тех пор я старался как можно реже попадаться этому ребеночку на глаза. Сейчас, войдя в музыкальный салон, я с изумлением заметил, до чего она становится похожей на мою Хельгу.

— Рези... — начал я.

— Знаю, — ответила она, даже не обернувшись. — Пора убивать собаку.

— Не очень-то мне хочется это делать, — промямлил я.

— Но ты сделаешь или перепоручишь кому-то другому? — перебила меня Рези.

— Твой отец попросил меня.

Рези взглянула на меня наконец.

— Ты теперь солдат.

— Да.

— Неужели ты надел форму специально, чтобы убить собаку?

— Я ухожу на фронт. Просто заехал проститься.

— На какой фронт?

— На русский.
— Тебя убьют.
— Может, да, а может — нет.
— Все, кто еще жив, скоро умрут. — Казалось, это мало ее волновало.
— Ну, не все, — возразил я.
— Я умру, — сказала Рези.
— Надеюсь, что нет. Надеюсь, что у тебя все будет в порядке, — сказал я.

— Больно не будет, — продолжала Рези. — Просто, раз — и нет меня больше. — Она столкнула собаку с колен. Та шлепнулась на пол, безразличная ко всему, как Knackwurst^[6].

— Забери ее, — попросила Рези. — Я ее все равно никогда особенно не любила. Жалела просто.

Я взял собаку на руки.

— Ей лучше умереть, чем жить, — добавила Рези.

— Пожалуй, ты права.

— И мне лучше умереть.

— В это я ни за что не поверю.

— Хочешь, я тебе что-то скажу? — спросила Рези.

— Конечно.

— Поскольку всем все равно вот-вот помирать, могу признаться, что люблю тебя.

— Я очень тронут, — сказал я.

— По-настоящему люблю. Как я завидовала Хельге, когда она была жива и вы приезжали вместе! А когда Хельга погибла, я так мечтала, что вырасту, выйду за тебя замуж, стану знаменитой актрисой, а ты будешь писать для меня пьесы.

— Я просто польщен.

— Ерунда все это, — сказала Рези. — Все ерунда. Иди, убивай собаку.

Поклонившись, я вышел за дверь, забрав с собой таксу. Отнес ее в сад, положил на сугроб и вытащил свой пистолетик.

За мной наблюдали трое.

Рези, которая стояла теперь у окна музыкального салона.

Дряхлый солдат, который должен был караулить польских и русских рабынь.

И моя теща, Ева Нот. Ева Нот стояла у окна на втором этаже. Подобно таксе Рези, Ева Нот тоже отекала от скудной военной кормежки. Эта бедолага, которую немилосердное время превратило в сардельку, стояла навывтяжку у окна, считая, видимо, казнь собаки церемонией, не лишенной

известного достоинства.

Я выстрелил таксе в затылок. Выстрел у моего пистолетика вышел несерьезный, игрушечный какой-то, словно хлопок пистонного пугача.

Такса умерла, даже не дернувшись.

Солдатик-старик подошел ближе, движимый профессиональным любопытством к результатам, коих можно было от подобного пистолетика ожидать. Перевернув трупик носком сапога, он нашел в снегу пулю и пробормотал что-то рассудительно, будто я совершил нечто весьма интересное и поучительное. И пошел рассказывать о всех виденных им и известных понаслышке ранах, о всех способах делать дырки в живой когда-то плоти.

— Хоронить будете? — спросил он меня.

— Да надо бы, наверное, — ответил я.

— А не похороните, так кто-нибудь съест.

20: ЖЕНЩИНЫ ВЕШАЮТ ВЕШАТЕЛЯ БЕРЛИНА:

Лишь недавно, где-то в 1958 или 1959 году, я узнал, как погиб мой тесть. То, что его нет в живых, я знал и раньше, это установило сыскное агентство, которое я нанимал искать Хельгу.

Подробности же его гибели я узнал случайно в парикмахерской в Гринич-Вилидж, где, в ожидании своей очереди, листал журнал для девушек, восхищаясь тем, как созданы женщины. Вынесенная на обложку заглавная статья номера называлась; «Женщины вешают вешателя Берлина». Мне и в голову не пришло, что статья может иметь отношение к моему тесно. Вешать — это было не по его части. Я раскрыл журнал на первой странице заглавной статьи.

И долго разглядывал смазанную фотографию Вернера Нота, повешенного на яблоне, даже не подозревая, кто был повешенный. Я всматривался в лица окружающих яблоню людей. В основном — женщины. Безликие, бесформенные оборванки.

Интереса ради я начал подсчитывать неточности в заголовке на обложке. Во-первых, женщины, практически, в повешении не участвовали — этим занимались трое изможденных мужчин. Во-вторых, на обложке приговоренного вешали красавицы, а на фотографии — нет. У женщин на обложке были груди — что спелые дыни, бедра — что конский хомут, а лохмотья казались соблазнительно изодранными ночными сорочками от модного портного. А на фотографии женщины смотрелись не лучше, чем полосатая зубатка, обернутая в матрасную обивку.

И тут, не успев еще даже прочесть первых строк, я начал смутно узнавать очертания разрушенного дома на заднем плане, и на меня накатила дурнота. За спиной палача словно пеньки от выбитых из челюсти зубов вырисовывались руины — все, что осталось от дома Вернера Нота, где росла добропорядочной немкой моя Хельга, где я простился с десятилетней нигилисткой по имени Рези.

Я прочел статью.

Статью написал некий Иэн Уэстлейк, и написал хорошо. Уэстлейк, освобожденный из плена англичанин, оказался очевидцем казни вскоре после того, как его освободили русские. Он же сделал и снимок.

Нота, писал Уэстлейк, повесили на яблоне в его же саду размещенные поблизости рабыни, в основном — польки и русские. Но Уэстлейк моего

тестя «вешателем Берлина» не называл.

Он попытался выяснить, в совершении каких именно преступлений был повинен Нот, и пришел к выводу, что Нот был не хуже и не лучше любого другого начальника полиции большого города.

«Террор и пытки были епархией иных ведомств немецкой полиции, — писал Уэстлейк. — Областью же деятельности Вернера Нота оставалось то, что в любом большом городе считалось бы обычной охраной правопорядка. Руководимая им служба являлась заклятым врагом пьяниц, воров, убийц, насильников, грабителей, аферистов, проституток и иных нарушителей общественного порядка. Также она прилагала все усилия для обеспечения нормального уличного движения в городе».

Основной провинность Нота заключалась в том, писал Уэстлейк, что он передавал людей, подозреваемых в нарушениях закона и совершении преступлении, в систему судов и пенитенциарных заведений, носившую безумный характер. Нот всеми силами стремился отличить невинных от виновных, опираясь на новейшие методы полицейской службы, но те, кому он передавал арестованных, подобных различий не ведали. Сам факт лишения свободы — судом ли, или без суда — делал человека преступником. А с заключенными способ один: унижать, изматывать и убивать.

Рабыни, повесившие Нота, продолжал Уэстлейк, толком и не знали, кто он, — просто какая-то шишка, и все. Они и повесили его потому, что очень хотелось повесить какую-нибудь шишку.

По словам Уэстлейка, дом Нота разрушил огонь русской артиллерии. Сохранилась лишь одна комната сзади, в которой и продолжал жить Нот. Уэстлейк осмотрел эту комнату. Там оказались лишь кровать, стол и подсвечник. И на столе обрамленные фотографии Хельги, Рези и жены Нота.

И книга. Немецкий перевод «Размышлений» Марка Аврелия.

Как такой убогий журнальчик приобрел такую отличную статью? Редакция не сомневалась, что читатель клюнет на описание самого процесса казни.

Мой тесть стоял на табуретке высотой дюйма в четыре. На шею ему накинули петлю, конец веревки захлестнули за сук цветущей яблони. А затем вышибли табуретку у него из-под ног, Чтоб он подрыгался, пока петля его не задушит.

Здорово?

Он приходил в себя восемь раз. А вешали его девять.

И лишь на девятый раз его покинули остатки мужества и достоинства.

Лишь на девятый раз в нем проснулся испуганный мучениями ребенок.

«За то, что он показал это, — писал Уэстлейк, — Нот был вознагражден тем, чего жаждал больше всего на свете. Он был вознагражден смертью. Умер он с эрекцией, и ноги у него были босы».

Я перевернул страницу посмотреть, есть ли там еще что-нибудь. Оказалось, есть, только уже другое. На весь разворот снимок хорошенькой дамочки, раздвинувшей ноги и высунувшей язык.

Парикмахер стряхнул волосы клиента с салфетки, которую теперь повяжет мне.

— Следующий, — крикнул мне парикмахер.

21: МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ...

Я говорил уже, что заезжал к Ноту попрощаться на ворованном мотоцикле. Сейчас объясню.

Я его не то чтобы украл, но позаимствовал без отдачи у Хайнца Шилдкнехта, партнера по пинг-понгу и самого близкого моего друга в Германии.

Мы пили вместе и часто беседовали за полночь, особенно после того, как оба потеряли жен.

— Я чувствую, что могу сказать тебе все — абсолютно все, — признался мне Хайнц как-то ночью ближе к концу войны.

— А я — тебе, Хайнц, — ответил я.

— Все, что у меня есть — твое.

— Все, что у меня есть — твое, Хайнц, — ответил я.

Имущества-то у нас у обоих было кот наплакал. Дома не было ни у него, ни у меня. Вся недвижимость и мебель погибли в бомбежках. Часы, машинка и велосипед — вот, практически, все, что у меня осталось. А Хайнц давно сменял на сигареты и часы, и машинку, и даже обручальное кольцо. Одно лишь у него осталось в этой юдоли печали — мотоцикл. Не считая, конечно, моей дружбы, да рубахи на спине.

— Случись что с мотоциклом, — говорил он, — и я — нищий. — Хайнц оглянулся проверить, не подслушивает ли кто. — Открою тебе страшную тайну.

— Лучше не надо, если тебе не хочется, — запротестовал я.

— Хочется, — возразил Хайнц. — Ты единственный, кому я могу доверить даже самое ужасное. А то, что я тебе скажу, — ужасно.

Мы с Хайнцем пили и болтали в доте подле общежития, в котором оба ночевали. Дот построили совсем недавно для обороны Берлина, строили рабы. Ни гарнизона, ни вооружения в дот еще не поставили — настолько близко русские еще не подошли.

Между мной и Хайнцем стояли бутылка и свеча. Хайнц поведал мне свою ужасную тайну. Он был пьян.

— Говард, — исповедовался он, — я люблю мотоцикл больше, чем любил жену.

— Я хочу тебе быть другом и хочу верить каждому твоему слову, Хайнц, — ответил я, — но поверить в это отказываюсь. Забудем, что я это слышал, потому что этого не может быть.

— Нет, — стоял на своем Хайнц, — пришло одно из тех редчайших мгновений, когда человек говорит правду. Люди ведь редко говорят правду, но сейчас я именно правду и говорю. Если ты действительно настоящий друг, каким я тебя считаю, ты окажешь честь настоящему другу, каким себя считаю я, поверив ему.

— Хорошо, — согласился я.

По щекам Хайнца покатались слезы.

— Я продал ее драгоценности, ее любимую мебель, даже ее мясной паек — и все для того, чтобы покупать себе сигареты.

— Всем нам есть чего стыдиться.

— Я не бросил курить ради нее, — продолжал Хайнц.

— Все мы страдаем дурными привычками.

— Когда в наш дом попала бомба, убившая жену, у меня не осталось ничего, кроме мотоцикла. На черном рынке мне за него предложили четыре тысячи сигарет.

— Я знаю, — ответил я. Хайнц рассказывал мне эту историю каждый раз, как напивался.

— И я тут же бросил курить, — всхлипнул Хайнц. — Вот как сильно я люблю мотоцикл.

— Все мы цепляемся за какой-нибудь якорь, — вздохнул я.

— Не за то мы цепляемся, за что надо, — возразил Хайнц, — и цепляемся слишком поздно. Знаешь, во что единственное я верю, из всего того, во что верить можно?

— Во что?

— В то, что все обезумели. И в любую минуту готовы на что угодно. И упаси Боже искать причины.

Что же до того, что представляла собой жена Хайнца, то я знал ее довольно поверхностно, хотя общался с ней часто. Познакомиться с ней ближе было затруднительным, поскольку она без умолку болтала, и всегда об одном и том же: о людях, добившихся успеха, увидевших возможности и не упустивших их, о людях, сумевших, в отличие от ее мужа, добиться богатства и платности.

— Вот взять молодого Курта Эренца, — трещала она. — В двадцать шесть лет — уже полковник СС! А его брату Генриху никак не больше тридцати четырех, а у него под началом восемнадцать тысяч иностранных рабочих, и все строят противотанковые ловушки. Говорят, Генрих самый крупный в мире специалист по противотанковым ловушкам, а я ведь с ним танцевала когда-то!

И вот так без остановки, пока бедняга Хайнц накуривался до одури на

заднем плане. Мне же она напрочь отшибла способность воспринимать рассказы о чьих-либо успехах. Ведь люди, с ее точки зрения, преуспевшие в сем отважном новом мире, вознаграждались за высокий профессионализм в сеянии рабства, смерти и разрушений. По-моему же, достижения человека в этой области никак успехом не назовешь.

По мере того как приближался конец войны, мы с Хайнцем лишились возможности продолжать наши попойки в доте. В нем теперь установили восьмидесятимиллиметровую пушку, расчет которой состоял из пятнадцати- и шестнадцатилетних подростков. Вот было бы о чем поговорить покойнице — жене Хайнца. Неслыханный успех — совсем сопляки, а уже во взрослых мундирах и в собственном смертельном капкане при всей амуниции.

Так что пришлось нам с Хайнцем продолжать задушевные беседы прямо в общежитии — манеже для верховой езды, битком набитым чиновным людом, оставшимся после бомбежки без крова и спавшим теперь здесь на соломенных матрасах. Бутылку мы тщательно прятали от посторонних глаз, чтобы не пришлось с кем-нибудь делиться.

— Ты мне и вправду друг, Хайнц? — спросил я его как-то ночью.

— И ты еще спрашиваешь! — уязвленно ответил Хайнц.

— У меня к тебе есть просьба. Очень большая просьба, Не знаю даже, имею ли я право обращаться с ней.

— Я настаиваю на этом, — заявил Хайнц.

— Одолжи мне завтра мотоцикл. Я хочу проведать родню.

— Бери, — без секундного колебания, без малейшего принуждения ответил Хайнц.

Так я наутро и сделал.

Выехали мы вместе: я — на мотоцикле Хайнца, Хайнц — на моем велосипеде.

Нажав стартер и дав газу, я укатил, обдав на прощание улыбавшегося мне вслед лучшего друга сизым облачком дыма из выхлопной трубы.

И помчался — тр-ц-ц-ум, пф-пф, гру-у-ум!

И Хайнц больше никогда не видел ни своего мотоцикла, ни своего лучшего друга.

Хотя Хайнц был не бог весть какой военный преступник, я все же попросил Институт документации военных преступлений навести о нем справки. Институт порадовал меня сообщением, что ныне Хайнц осел в Ирландии, где устроился главным управляющим у барона Ульриха Вертера фон Швифельбада. Барон Швифельбад купил после войны огромное поместье в Ирландии.

По словам сотрудников Института, Хайнц стал признанным специалистом по смерти Гитлера, поскольку ему случилось забрести, в бункер, где догорал уже обуглившийся, но еще узнаваемый труп фюрера.

Эй, Хайнц, привет тебе, если ты это читаешь.

Я был глубоко к тебе привязан — насколько я вообще способен быть привязан к кому-либо.

Поцелуй там за меня камень в Бларни^[7].

Что ты искал в бункере Гитлера? Свой мотоцикл и своего лучшего друга?

22: СОДЕРЖИМОЕ СТАРОГО СУНДУКА...

— Вот что, — обратился я к моей Хельге тогда в Гринич-Вилидж, рассказав ей то небольшое, что знал о ее матери, отце и сестре, — на этом чердаке любовного гнездышка даже на одну ночь не свить. Возьмем такси, поедем куда-нибудь в гостиницу. А завтра — выкинем все это барахло и купим новехонькую мебель. И обзаведемся настоящим домом.

— Мне и здесь хорошо, — отвечала Хельга.

— Завтра, — продолжал я, — купим кровать, как наша старая — две мили длиной и три шириной и с изголовьем, как восход солнца в Италии. Помнишь ее? О, Боже, да помнишь ли ты ее?

— Да, — сказала она.

— Сегодня — в гостинице, а завтра — в такой же кровати, как та.

— Мы уже уходим? — спросила Хельга.

— Как скажешь.

— Можно, я сначала покажу тебе свои подарки? — спросила она.

— Какие подарки?

— Подарки тебе.

— Ты — мой подарок. Чего же мне еще желать?

— Надеюсь, этому ты обрадуешься тоже, — Хельга возилась с замками чемодана. Она открыла крышку, и я увидел, что он доверху набит рукописями. Это и был ее подарок мне — собрание моих сочинений. Собрание моих серьезных работ, едва ли не каждое слово, рожденное в сердечных муках мною, тем, бывшим Говардом У. Кэмпбеллом-младшим. Стихи, рассказы, пьесы, письма, неопубликованная книга — собрание самого себя, еще жизнерадостного, свободного и юного, совсем юного.

— Какое странное они у меня вызывают чувство, — сказал я.

— Мне не следовало привозить их?

— Сам не знаю. Ведь эти листки и были мною когда-то. — Я достал из чемодана рукопись книги, эксцентричного экспериментального произведения, именуемого «Записки Казановы-однолюба». — Вот это надо было сжечь.

— Скорее я дала бы сжечь свою правую руку, — возразила она.

Отложив рукопись книги в сторону, я вытащил стопку стихов.

— Что знает о моей жизни сей юный незнакомец? — спросил я и прочел вслух стихи. Стихи, написанные по-немецки:

Kühl ind hell der Sonnenaufganq,
Leis und süssder Jlocke Klang.
Ein Mägdlein hold, Krug in der Hand,
Sitzt an dcs tiefen Brunnens Rand.

Что это значит по-английски? В вольном переводе:

Рассвет холодный, ясный.
Колокол плавно звучит.
Девушка с кувшином,
Прохладный ручей журчит.

Я прочел это стихотворение вслух. Затем еще одно. Я был и остался очень плохим стихотворцем. Нет, восхищаться в моих стихах нечем. То, что я прочитал дальше, было, по-моему, предпоследним стихотворением, написанным мною в жизни. Датировалось оно 1937 годом и называлось «Gedarken über unseren Abstand von Zeitgeschen», что приблизительно соответствует английскому «Размышления о неучастии в текущих событиях».

Звучало оно так:

Eine mächtige Damrfwalse nacht
Und schwärkzt der Sonne Pfad,
Rolt uber geduchte Menschen dahin,
Wull Keiner ihr entfliehp.
Mein lieb und ich schann starrep Blickes
Daz Rätzel dieses Blutgeschickez.
«Kommit mit herab», die Menschheit schkeit,
«Die Maize ist die Jeschitchte der Zeit!»
Mein Lieb und tch gehm auf die flucht.
Wo Keine Damrfwalze uns sucht,
Und Leben auf dem Berdeshohen,
Jetrennt vom schwarzen Zeitdeschehen.
Zollep wir bleiben mit den andckn zu sterben?
Doch hein, wir zwci wollen nicht verderben!
Nun ist vorbei! — Wir zehn mit Erbleiclien
Die Opfer der Walze, verfailte Leichen.

А по-английски?

Огромный паровой каток
Все небо нам закрыл.
Никто ни шагу за порог.
Остался там, где был.

Лишь мы с любимой
Не поймем кошмарной аллегории,
Но вот и нам кричат:
«Ни с места! На вас
Идет история».

С любимой ноги унесли
На горную вершину.
Оттуда лишь взирали мы
На грозную махину.

Но, может, это был наш долг
лечь под каток истории?
Признаться, мы с ней не сочли,
Что это было б здорово.

Мы вниз спустились посмотреть,
Когда прошла махина,
О, Господи, ну и душок
Остался мертвечины!

— Откуда? — спросил я Хельгу. — Откуда это у тебя?

— Очутившись в Западном Берлине, я отправилась в театр узнать, сохранился ли театр, сохранился хоть кто-нибудь знакомый, слышал ли кто-нибудь хоть что-то о тебе. — Не было нужды объяснять, о каком театре говорила Хельга. Речь шла о маленьком театрике в Берлине, где шли мои пьесы, в которых она так часто блистала в главных ролях.

— Простоял почти всю войну, — кивнул я. — И до сих пор сохранился?

— Да, — ответила она. — Но о тебе никто ничего не знал. Лишь когда я объяснила, кем ты был для этого театра, кто-то вспомнил, что видел на антресолях сундучок с твоей фамилией.

Я провел рукою по рукописям.

— А в сундучке лежали они, — теперь я вспомнил сундук, вспомнил, как упаковал его и запер в самом начале войны, вспомнил, как подумал тогда, что в этот сундучок, словно в гроб, лег юноша, которым я никогда уже не стану.

— У тебя сохранились копии?

— Нет, — ответил я. — Ни единого клочка.

— Ты больше не пишешь?

— Ничего больше не нашлось такого, что мне хотелось бы сказать.

— После всего, что ты видел и пережил, дорогой?

— Именно после всего, что я видел и пережил, я и не могу, черт побери, почти что ничего сказать. Я потерял дар осмысленной речи. Обращаюсь к миру с какой-то тарабарщиной, и он отвечает мне тем же.

— Я нашла там еще одно стихотворение. Наверное, твое самое последнее. Ты записал его карандашом для бровей на внутренней стороне крышки.

— Вот как?

И Хельга прочитала его наизусть:

Hier liegt Howard Sampbells geist geborden,
Frei von des Kokpers dualenden sokden.
Sein leerer Leib durchstreift die Welt,
und Kargen Lohn dafir erhalt.
Triffst du die beiden detrent allerwärts
Verbrenn denn Leib, doch Schone dies, sein Herz.

А по-английски?

Здесь покоится жизни Говарда Кэмпбелла главное дело.
То есть душа его, освобожденная от суетного бременного тела.

Телу, с душой разлученному, на белом свете неймется.
Мается, бродит оно и получает то, что ему достается.

Если же Кэмпбелла тело с душой никогда не сольется,

Похороните его. А сердце — храните. Пусть здесь остается.

Раздался стук в дверь.

Это ко мне стучался Джордж Крафт, и я открыл ему.

Крафта всего трясло, оттого что пропала его трубка из кукурузного початка. Я впервые видел его без трубки и впервые понял, какое умиротворяющее действие она на него оказывала. Он так испереживался, что только не скулил.

— Кто-то взял ее, или засунул куда-то, или... Просто ума не приложу, кому понадобилось ее прятать, — ныл Крафт, явно рассчитывая, что мы с Хельгой разделим его горе, считая его важнейшим событием дня.

Он был просто невыносим.

— Кому потребовалось брать ее? Кому она нужна? — продолжал он, то всплескивая руками, то заламывая их, моргая, приносясь и всем видом напоминая наркомана, страдающего синдромом наркотического похмелья, хотя в жизни ничего, кроме пропавшей трубки, не курил. — Нет, вот ты мне скажи, ну кому могла потребоваться моя трубка?

— Не знаю, Джордж, — раздраженно буркнул я. — Если найдем, сообщим.

— Можно, я сам поищу? — гнул свое Крафт.

— Да ради Бога!

И Крафт перевернул всю комнату вверх дном, заглянул во все горшки и кастрюли, хлопал дверьми всех шкафов, гремел кочергой под всеми батареями.

Его поведение вдруг сблизило нас с Хельгой, внезапно подтолкнув к былой простоте и естественности отношений, которую иначе, наверное, долго пришлось бы налаживать.

Мы стояли бок о бок, оба недовольные этим вторжением в наше государство двоих.

— Что, такая ценная была трубка? — спросил я.

— Для меня — да!

— Купи другую.

— Но мне нужна именно эта! Я привык к ней. И хочу найти ее, — с этими словами Крафт полез в хлебницу.

— Не могли санитары прихватить ее?

— С какой бы стати?

— Может, думали, что эта трубка покойника, — предположил я. — И сунули ее ему в карман.

— Точно! — завопил Крафт, пулей вылетая из двери.

23. ГЛАВА ШЕСТЬСОТ СОРОК ТРЕТЬЯ...

Как я уже говорил, в чемодане у Хельги оказалась моя книга. В рукописи. Для печатания я ее никогда не предназначал. Считал ее непечатной. Ну, разве что — для любителей порнографии.

Называлась она «Записки Казановы-однолюба». И повествовала о моих победах над бесчисленным множеством женщин, коими бывала моя жена, моя Хельга. Книга аналитическая и одержимая. Даже, говорят, безумная. Дневник, описывающий нашу эротическую жизнь день за днем на протяжении первых двух лет войны — оставляя за рамками все остальное. Абсолютно все. В книге нет ни единого слова, по которому можно определить век или регион ее происхождения.

Есть многогранный и многоликий мужчина. И многогранная и многоликая женщина. В начальных эпизодах набросками прорисовано место действия, но в дальнейшем нет и этого.

Хельга знала, что я веду такой необычный дневник. А для меня он служил одним из многих приемов, способствовавших неослабевающему чувству сексуального наслаждения друг другом.

Книга явилась не только дневником эксперимента, но и частью эксперимента, дневником которого служила: эксперимента, намеренно предпринятого мужчиной и женщиной с целью беспредельно волновать друг друга сексуально — с целью куда более глубокой.

С целью слиться друг с другом душой и телом, стать достаточной причиной для существования, даже если никакого другого удовлетворения жизнь не оставит.

По-моему, я метко подобрал эпиграф к своей книге.

Это четверостишие Уильяма Блейка, именуемое «Ответ на вопрос».

Чем женщина дарит мужчине счастье?

Лишь обещаньем удовлетворенной страсти.

Чем женщине дарит мужчина счастье?

Лишь обещаньем удовлетворенной страсти.

Здесь вполне уместно привести последнюю главу записок, главу шестьсот тридцать четвертую, описывающую ночь, проведенную в нью-йоркской гостинице с Хельгой после столь долгой разлуки.

Оставляю на волю вкуса и утонченности редактора заменить отточиями места, способные показаться нескромными.

«Записки Казановы-однолюба, глава 643.

Между нами лежали шестнадцать лет разлуки. Первый прилив желания этой ночью я ощутил в кончиках пальцев. Другие части тела... ублаженные позже, увлажнялись ритуально, глубоко до... клинически безупречно. Ни одна часть моего тела и, я уверен, тела моей жены не могла пожаловаться на недостаток внимания, недостаточную вовлеченность... или поверхностное отношение. Но наивысшее наслаждение в ту ночь познали кончики моих пальцев...

Это отнюдь не значит, что ощутил себя... стариком, вынужденным выкладываться в любовной прелюдии, поскольку удовлетворить женщину... уже не может. Напротив, я был... пылок, как семнадцатилетний юнец со своею... девушкой...

И преисполнен ощущения чуда.

Чудо влилось в кончики моих пальцев. Спокойные, вдумчивые; изобретательные, эти... разведчики, эти... стратеги, эти... первопроходцы, эти... застрельщики растекались по всей... территории.

И приносили славные вести.

Той ночью моя жена была... рабыней, легшей в постель с... императором. Казалось, ее поразила немота, казалось, она ни слова не знает на моем языке. Но как же, однако, была она красноречива! Как глаза ее и дыхание ее выражали то, что должны выражать, не могли не выражать...

И как проста, как благословенно знакома была повесть, рассказанная ее... телом!.. Словно дуновение ветра рассказывало о ветре, словно запах розы рассказывал о розе.

Вслед за моими тонкими, чуткими и нежными пальцами пришли другие члены, жадные и настойчивые инструменты наслаждения, не знающие ни памяти, ни манер, ни терпения. И моя рабыня приняла их так же жадно... пока сама даже Мать-Природа, которая и предъявляет нам требования, столь невероятные, не могла просить большего. Сама Мать-Природа... объявила конец игре...

Мы разжали объятия...

И в первый раз членораздельно заговорили друг с другом с той минуты, как легли в постель.

— Здравствуй, — сказала она.

— Здравствуй, — ответил я.

— Добро пожаловать домой, — сказала она.

Конец главы шестьсот сорок третьей».

Поутру небо над городом было ясным, ярким и твердым, словно зачарованный купол, который рассыплется вдребезги, если постучать по нему, или зазвенит, как огромный стеклянный колокол.

Мы с моей Хельгой бодро вышли из двери гостиницы на улицу. Я щедро одарял мою Хельгу предупредительностью и заботливым вниманием, а моя Хельга не менее изысканно изъясляла признательность и уважение. Мы провели великолепную ночь.

Сейчас я был не в списанном армейском, а в одежде, на которую сменил мундир Вольного американского корпуса, когда бежал из Берлина, и в которой меня задержали: костюм из синего сержа и пальто с меховым воротником, как у импресарио. А еще мне взбрело в голову обзавестись тростью, и чего я только с нею не выделял: то имитировал вычурные приемы строевой подготовки с оружием, то выкрутасы Чарли Чаплина, то метким ударом отправлял какой-нибудь огрызок в проем канализационной решетки.

Тем временем ладошка моей Хельги покоилась на моей свободной руке, и достаточно было прикосновения ее пальчиков, чтобы ямка меж моим локтем и основанием мышц отзывалась беспредельным эротическим возбуждением.

Мы шли покупать кровать — такую же, как была у нас в Берлине.

Но все магазины оказались закрыты. Хотя было отнюдь не воскресенье и праздника никакого я припомнить не мог. Мы вышли на Пятую авеню. Кругом, насколько видел глаз, висели американские, флаги.

— Господи ты Боже мой, — вырвалось у меня ошеломленно.

— По какому это случаю? — спросила Хельга.

— Может, войну вчера кому объявили, — пожал я плечами.

Пальцы Хельги непроизвольно сжались у меня на локте.

— Ты ведь не всерьез, правда? — она-то подобной возможности всерьез не исключала.

— Нет, я пошутил, видно, праздник какой-то.

— А какой?

Мне по-прежнему на ум ничего не приходило.

— Как твой гид по нашей чудесной стране я должен бы объяснить тебе глубочайшее значение сего великого дня жизни нашего народа, да ничего на ум не приходит.

— Совсем ничего?

— Не более чем тебе. Бог его знает, что происходит. Может, принц из Камбоджи приехал.

Одетый в ливрею негр подметал тротуар перед входом в дом. Его голубая с золотом ливрея как две капли воды походила на мундир Вольного американского корпуса, вплоть до такой детали, как бледно-лиловый кант на брюках. Нашивка над клапаном нагрудного кармана возвещала название многоквартирного дома, в котором негр работал: «Лесной дом», хотя единственным деревцем поблизости был перевязанный и взятый в железную клетку саженец.

Я спросил негра, что сегодня за день.

Оказалось — День ветерана.

— А число сегодня какое? — поинтересовался я.

— Одиннадцатое ноября, сэр, — отвечал тот.

— Так ведь одиннадцатое ноября — День перемирия, а вовсе не ветерана.

— Где же это вы были? — отвечал тот. — Уж сколько лет, как все поменялось.

— День ветерана, — объяснил я Хельге, когда мы пошли дальше. — Раньше был День перемирия, теперь — ветеранов.

— Ты расстроен?

— А, такая типичная дешевка, — махнул я рукой. — Это же был день памяти павших в первую мировую войну. Но живым никак не сдержать свои загребущие ручонки, все хочется примазаться к славе мертвых. Это так типично! Каждый раз, стоит в нашей стране появиться хоть чему-то, по-настоящему достойному, как его обязательно разорвут в клочья и швырнут толпе.

— Ты что, ненавидишь Америку? — спросила Хельга.

— Ненавидеть ее было бы так же глупо, как и любить. Я вообще не способен воспринимать ее эмоционально, ибо недвижимость меня не возбуждает. Несомненно, здесь сказывается моя ущербность, но я не способен воспринимать мир, разделенный границами. Эти воображаемые линии так же нереальны для меня, как эльфы и феи. И не верится, будто они разделяют конец и начало чего-то такого, что действительно важно для человеческой души. Порок и добродетель, боль и радость гуляют через

границы, как хотят.

— Ты так изменился, — вздохнула Хельга.

— Мировой войне должно менять людей, — ответил я. — А то на что же она нужна иначе?

— Но вдруг ты изменился настолько, что уже и не любишь меня? А может, я настолько изменилась...

— Как тебе это в голову взбрело? После такой-то ночи?

— Мы ведь даже ни о чем не поговорили... — сказала она.

— А о чем говорить? Что бы ты ни сказала, я все равно не стану любить тебя ни больше, ни меньше. Наша любовь слишком глубока для слов. Это — любовь душ.

— Ах, как это прекрасно, — вздохнула она. — Если это правда, конечно. — И свела ладони вместе, но не касаясь ими друг друга. — Любовь наших душ.

— Любовь все вынесет, — заявил я.

— И сейчас твоя душа влюблена в мою?

— Естественно.

— И это чувство тебя не обманывает? Ты не можешь ошибиться?

— Никоим образом, — отрезал я.

— Любви не убудет, что бы я ни сказала?

— Абсолютно.

— Что ж. Я должна сказать тебе кое-что, в чем до сих пор боялась признаться. Но теперь не боюсь больше.

— Валяй, говори! — весело ответил я.

— Я не Хельга, — сказала она. — Я — Рези. Ее младшая сестра.

24: КАЗАНОВА-МНОГОЛЮБ...

Выслушав это, я завел Рези в первый попавшийся кафетерий, где можно было сесть. Там был высокий потолок, безжалостно слепящий свет и стоял адский грохот.

— Как ты могла поступить так со мной?

— Я люблю тебя.

— Как ты могла меня любить?

— Я всегда тебя любила — еще с самого детства.

— Как это все ужасно, — я сжал руками голову.

— А... а по-моему — прекрасно! — возразила она.

— Ну, и что теперь?

— Разве все не может остаться как есть? — спросила она.

— О, Господи! У меня просто голова кругом!

— Выходит, я все же нашла слова, способные убить любовь — ту самую любовь, которую не убьешь ничем?

— Не знаю, — я покачал головой. — В чем же я так провинился?

— Это я провинилась. Просто, наверное, с ума сошла. Когда сбежала в Западный Берлин, когда мне дали заполнить анкету и начали расспрашивать кто я, что я, да кого я знала...

— А история эта со всеми подробностями, которую ты мне рассказала — все неправда?

— Про табачную фабрику в Дрездене — правда. И про побег в Берлин — тоже правда. И, пожалуй, все. Про табачную фабрику — куда уж правдивее. Десять часов в день по шесть дней в неделю. И так десять лет.

— Прости.

— Это я должна просить прощения. Жизнь со мною обошлась так круто, что я себе и чувства вины не могу позволить. Угрызения совести такая же немыслимая роскошь для меня, как норковая шуба. Одно спасло меня, когда я стояла у машины на фабрике, — мечты, но и на них я не имела никакого права.

— Почему?

— Потому, что в мечтах я воображала себя не той, кем была.

— Беды в этом нет, — ответил я.

— Нет? Да вот она налицо. Взгляни на себя. На меня. На нашу любовь. Я воображала себя своей сестрой Хельгой, Хельга — вот кто я была. Хельга, Хельга, Хельга. Красавица-актриса, замужем за красивцем-

драматургом. А Рези, оператор сигаретной машины, просто испарилась.

— У тебя губа не дура.

— Вот кто я и есть на самом деле, — она заметно осмелела. — Вот кто я есть. Я — Хельга. Хельга! И ты поверил в это. А лучшего доказательства и быть не может. Ведь я была для тебя Хельга?

— Ни черта себе вопрос для джентльмена!

— Разве я не имею права на ответ?

— Имеешь. Ответ — «да». Я должен ответить «да», но при этом должен и признать, что я далеко не в лучшей форме. Ни чувства мои, ни интуиция, ни рассудок явно не в лучшем виде.

— А, может, и наоборот, — возразила она. — Может, ты ни в чем и не обманулся.

— Что тебе известно о Хельге? — спросил я.

— Она мертва.

— Ты точно знаешь?

— Разве не мертва?

— Не знаю.

— Я от нее не получила ни весточки. А ты?

— И я.

— От живых ведь получают, правда? Особенно, если они любят так сильно, как Хельга любила тебя.

— Надо думать.

— Я люблю тебя так же сильно, как любила Хельга.

— Спасибо.

— И моя весточка до тебя дошла. Пришлось постараться для этого, но дошла ведь.

— И впрямь, — согласился я.

— Когда я добралась до Западного Берлина и мне дали заполнить анкеты — имя, профессия, ближайшие живые родственники, — я могла выбирать. Либо остаться Рези Нот, одинокой станочницей табачной фабрики. Либо стать Хельгой Нот, актрисой, женой красивого, восхитительного блестящего драматурга, живущего в США. — И она наклонилась ко мне. — Так скажи мне, кем же я должна была стать?

Прости меня, Боже! Но я снова воспринял Рези, как мою Хельгу.

Однако, утвердившись в моей душе снова, она помаленьку начала показывать, что не настолько уж всецело слилась с обликом Хельги, как убеждала меня. Она сочла возможным начать шаг за шагом приучать, меня к личности, которой была не Хельга, а она сама.

Этот постепенный выход из образа, это постепенное отлучение меня

от воспоминаний о Хельге начались, как только мы ступили за порог кафетерия. Она тут же задала мне вопрос, раздражавший своей практичностью:

— Продолжать мне красить волосы или можно восстановить их нормальный цвет?

— А какие они у тебя?

— Каштановые.

— Чудесный цвет. Как у Хельги.

— У меня больше отдает в рыжину.

— Интересно будет посмотреть.

Мы шли по Пятой авеню. Немного погодя она спросила:

— Ты когда-нибудь напишешь для меня пьесу?

— Не знаю, смогу ли я снова писать.

— Но ведь Хельга тебя вдохновляла писать?

— Не писать. А писать так, как я писал.

— То есть, чтобы роль была для нее.

— Вот именно. Я писал роли для Хельги, позволяющие ей полностью самовыражаться на сцене.

— Я хочу, чтобы когда-нибудь ты сделал то же самое для меня.

— Может, и попробую.

— Для самовыражения Рези, — сказала она. — Рези Нот.

Мы наткнулись на парад в честь Дня ветерана на Пятой авеню, и я впервые услышал, как смеется Рези. Совсем не так, как Хельга.

Смех Хельги журчал тихим шелестом, смех Рези звучал громко и мелодично. А рассмешили ее дурехи-барабанщицы, выбрасывающие ноги выше головы, виляющие попками, играющие хромированными палочками.

— Никогда ничего подобного не видела, — объяснила она. — Похоже, для американцев война — дело сугубо сексуальное.

Она продолжала заливаться смехом и все выпячивала грудь, доказывая, что из нее тоже вышла бы барабанщица для парада хоть куда.

С каждой секундой она становилась все моложе и веселее, все более хрипло-непочтительной. Белоснежные волосы, лишь недавно наводившие меня на мысли о преждевременной старости, становились теперь на место, ассоциируясь с перекисью и девушками, удирающими в Голливуд.

Насмотревшись на парад, мы заглянули в витрину магазина, где была выставлена огромная позолоченная кровать, очень похожая на ту, что однажды стояла и нашей с Хельгой спальне.

Но не одна лишь вагнеровских пропорций кровать виднелась в витрине. В стекле витрины призрачно отражались и мы с Рези, и

призрачный парад, продолжавшийся за нашими спинами. От такой композиции — реально ощутимая массивная кровать и бледные призраки — становилось не по себе. Этакая аллегория в викторианском вкусе, которая, надо сказать, хорошо смотрелась бы на стене в баре — проплывающие мимо знамена, золотая кровать и призраки мужчины и женщины.

В чем именно аллегория заключается, не скажу. Но могу подсказать кое-что. Призрачный мужчина казался безбожно старым, изможденным и траченным молью. Призрачная женщина же годилась ему в дочери: юная, живая, лукавая чертовка.

25: ОТВЕТ КОММУНИЗМУ:

Мы с Рези лениво брели обратно к моему крысиному чердаку, заходя в мебельные магазины и останавливаясь пропустить рюмашку то здесь, то там.

В одном баре, когда Рези ушла в дамскую комнату, ко мне прицепился какой-то кабацкий заседатель.

— Знаете, в чем ответ коммунизму? — спросил он.

— Нет.

— В моральном перевооружении, — заявил тот.

— Это еще что за штука, черт побери?

— Движение такое.

— Куда?

— За моральное перевооружение. За абсолютную честность, абсолютную чистоту, абсолютное бескорыстие и абсолютную любовь.

— Желаю ему всяческой удачи, — ответил я.

Еще в одном баре мы с Рези наткнулись на человека, уверявшего, что он способен удовлетворить — глубоко удовлетворить — семь женщин за ночь, но только, чтобы они были очень разные.

— Совсем-совсем разные, понимаете?

О, Господи, чем же только не живут люди!

О, Господи, и в каком же мире они пытаются этим жить!

28: В КОТОРОЙ УВЕКОВЕЧИВАЕТСЯ ПАМЯТЬ РЯДОВОГО ИРВИНГА БАКЭНОНА И КОЕ-КОГО ЕЩЕ

Домой мы с Рези добрались лишь после ужина, когда уже стемнело. Вообще-то мы собирались провести где-нибудь в гостинице и следующую ночь, а домой зашли, потому что Рези очень хотелось проснуться с мыслью о том, как мы переоборудуем чердак, хотелось поиграть в хозяйку дома.

— Наконец-то у меня есть дом! — воскликнула она.

— Жилье надо долго обживать, чтобы оно стало домом, — ответил я. И увидел, что мой почтовый ящик снова набит битком. Но почту доставать не стал.

— Кто это сделал? — спросила Рези.

— Сделал что? — переспросил я.

— Вот это, — и Рези показала на табличку с моим именем на почтовом ящике. Кто-то подрисовал к моей фамилии свастику голубым чернильным карандашом.

— Такого раньше не было. — Я ощутил прилив беспокойства, — Может, не стоит подниматься вверх. Вдруг тот, кто это сделал, забрался туда.

— Ничего не понимаю, — сказала Рези.

— Неудачно ты выбрала время приехать ко мне, Рези. Такая у меня была уютная тихая нора, где мы могли бы прекрасно отсидеться...

— Нора? — переспросила Рези.

— Тайный такой уютный отнорочек. И надо же! — меня охватило отчаяние. — Кто-то возьми и разори мою берлогу как назло именно сейчас — когда ты приехала! — Я объяснил Рези, как вдруг всплыла на свет божий моя печальная слава. — И теперь на запах свежевскрытой берлоги стекаются хищники.

— Надо перебираться в другую страну.

— В какую? Куда?

— В любую. У тебя хватит денег уехать куда тебе угодно.

— Куда мне угодно, — повторил я.

И в этот момент в подъезд вошел лысый агрессивно настроенный толстяк с хозяйственной сумкой в руке. И отпихнул нас с Рези от почтовых ящиков, хрипло извинившись, как извиняются задиры, напрашиваясь на

драку, потому что в голосе его извинения и не прозвучало:

— Звиняюсь, — буркнул он. И стал читать имена на почтовых ящиках, водя по ним пальцем, словно первоклашка, и подолгу изучая каждое.

— Кэмпбелл, — прочитал он наконец с невыразимым удовлетворением и обернулся ко мне. — Знаете такого?

— Нет.

— Ах, не знаете! — прорычал он, весь наливаясь злобой. — Чего же вы тогда так на него похожи? — И, достав из сумки номер «Дейли ньюс», он раскрыл его и сунул под нос Рези. — Ну-ка, посмотрите, разве не похож он на господина, который с вами, а?

— Позвольте полюбопытствовать, — попросил я и, взяв газету из вдруг ослабевших пальцев Рези, увидел на снимке себя и лейтенанта О'Хэа подле виселиц Ордруфа целую вечность тому назад.

Текст под снимком гласил, что правительство Израиля обнаружило меня после пятнадцатилетних поисков. И теперь требует от Соединенных Штатов моей выдачи для суда. По обвинению в чем? Соучастие в убийстве шести миллионов евреев.

Я не успел и рта раскрыть, как толстяк врезал мне прямо через газету.

Я рухнул как подкошенный, ударившись головой о мусорный бак.

Толстяк склонился надо мной.

— Я тобой сам займусь, пока евреи тебя не посадили в клетку в зоопарке или еще чего не надумали, — прорычал он.

Я помотал головой, пытаясь стряхнуть окутавший меня туман.

— Что, ощущаешь?

— Ага, — пробормотал я.

— Это тебе за рядового Ирвинга Бакэнона.

— Вы, значит, он и есть?

— Бакэнон погиб. Лучший был мой друг. Немцы отрезали ему яйца и повесили на телеграфном столбе в пяти милях от места высадки.

Отпихнув рукой Рези, он ударил меня ногой по ребрам.

— А это — за Энсела Брюера, которого задавил «Тигр» под Аахеном.

И снова пнул меня.

— А это за Эди Маккарти, которого пополам разрезало пулеметной очередью в Арденнах. Эди хотел стать врачом.

И он отвел свою ножищу, чтобы пнуть меня по голове.

— А это — за...

Больше я ничего не слышал. От удара еще за кого-то, павшего на войне, я потерял сознание.

Позже Рези рассказала мне, что на прощанье сказал толстяк и что за

подарок он принес мне в своей сумке.

— Я-то войны не забыл, — сказал он мне, хотя я не мог уже его слышать. — Все остальные, видать, забыли, но я — никогда. И вот что я тебе принес, чтоб тебе не заставлять никого руки пачкать.

И ушел.

Рези выбросила петлю в мусорный ящик, где ее следующим утром нашел наш мусорщик Ласло Шомбази. Он потом ею и удавился, но это уже совсем другая история.

Что же до моей собственной, то я очнулся на продавленной кушетке в сырой перенатопленной комнате, увешанной заплесневелыми нацистскими знаменами. Рядом стоял картонный камин — лучшее, что может предложить грошовая лавка для празднования счастливого Рождества. Вделанные в камин картонные березовые полешки освещал красный огонек электрической лампочки и лизали целлофановые языки вечного огня.

Над камином висел хромолитографический портрет Адольфа Гитлера, убранный черным шелком.

Я оказался раздет до своего солдатского белья и укрыт покрывалом под леопардовую шкуру. Застонав, я сел, отчего у меня в глазах все поплыло. Взглянув на свое леопардовое покрывало, я пробормотал что-то несуразное.

— Что ты сказал, милый? — спросила Рези. Она сидела подле меня, но я не заметил ее, пока она не заговорила.

— Неужто, — пробормотал я, плотнее завернувшись в шкуру, — неужто мы попали к готтентотам?

27: ХРАНИТЕЛИ ОГНЯ:

Мои здешние референты, расторопные и толковые молодые люди, подобрали мне фотокопии статьи из «Нью-Йорк таймс» о смерти Ласло Шомбази, человека, удавившегося предназначенной мне веревкой.

Так что и это мне тоже не приснилось.

Отмочил он этот номер на следующий день после того, как меня избили.

По словам «Таймс», он эмигрировал в США после юго, как в рядах борцов за свободу сражался в Венгрии с русскими. Он был братоубийцей, поскольку, по словам «Таймс», застрелил своего брата Миклоша, заместителя министра просвещения Венгрии.

Прежде чем заснуть вечным сном, Шомбази написал записку и пришили ее к брючине. Об убийстве им своего брата в записке не было ни слова.

Была жалоба на то, что ему, признанному в Венгрии ветеринару, не позволили практиковать в Америке. Он много чего горького нашел сказать об американской свободе. Ему она показалась иллюзорной.

В последнем своем фанданго паранойи и мазохизма Шомбази завершил посмертное письмо намеком, будто раскрыл секрет излечения рака. А врачи-американцы, мол, лишь смеялись над ним, когда он пытался передать им его.

Ладно, хватит о Шомбази.

Вернемся в комнату, где я очнулся после избиения: это и был тот самый подвал, что оборудовал для Железной гвардии белых сынов американской конституции покойный Август Крапптауэр, подвал дома Лайонела Дж. Д. Джоунза, доктора богословия и медицины. Где-то наверху работал печатный станок, выпуская тираж номера «Уайт крисчен минитмен».

Из какой-то другой подвальной комнаты, неполностью звукоизолированной, доносились идиотско монотонные звуки стрельбы в цель.

Первую помощь после избиения оказал мне молодой Авраам Эпштейн, живущий в нашем подъезде доктор, который констатировал смерть Крапптауэра. Из квартиры доктора Рези позвонила д-ру Джоунзу за советом и помощью.

— Почему Джоунзу? — спросил я.

— Он казался мне единственным человеком в стране, которому можно доверять, — объяснила Рези. — Единственный, о ком я знала точно, что он — на твоей стороне.

— Без друзей — что за жизнь, — сказал я.

Сам я этого не помню, но, по словам Рези, я очнулся в квартире Эпштейна. Джоунз приехал за нами на своем лимузине и отвез меня в больницу, где мне сделали рентген и взяли три сломанных ребра в пластырь. После чего Джоунз доставил меня к себе в подвал и велел уложить в постель.

— Но почему сюда? — спросил я.

— Здесь ты в безопасности.

— От кого?

— От евреев, — объяснила Рези.

Вошел шофер Джоунза — Черный Фюрер Гарлема — с подносом, на котором принес яичницу, гренки и обжигаяще горячий кофе. Поднос он поставил на столик рядом со мной.

— Голова болит? — спросил он.

— Болит.

— Примите аспирин.

— Спасибо за совет.

— В этом мире почти что ни от чего нет толку, — сказал он, — кроме аспирина.

— И... и государство Израиль действительно требует моей выдачи, — не веря, переспросил я Рези, — чтобы судить меня за... за что там в газете говорилось меня хотят судить?

— Доктор Джоунз уверен, что американское правительство тебя не выдаст, — ответила Рези, — но евреи пошлют людей выкрасть тебя, как Эйхмана.

— На кой им ляд такая никчемная добыча, — пробормотал я.

— Ты учти, за тобой не просто пара-другая евреев гоняет, — вставил Черный Фюрер.

— Что? — не понял я.

— Это я к тому, что они теперь целой страной обзавелись, смекаешь? И крейсера теперь свои яврейские заимели, и самолеты яврейские, и яврейские танки. Вот они всей енттой яврейской своей кодлой за тобой и шлендрают, разве только что яврейскую водородную бомбу с собой не прихватили.

— Господи Боже, да кто там за стенкой стрельбой развлекается? Может он перестать, пока у меня голова хоть немного не пройдет? —

взмолился я.

— Друг твой, — объяснила Рези.

— Доктор Джоунз?

— Джордж Крафт.

— Крафт? Он-то откуда здесь взялся? — изумился я.

— Едет с нами, — ответила Рези.

— Куда?

— Все уже решено. Все единодушны, милый, — нам лучше всего покинуть страну. Доктор Джоунз уже обо всем позаботился.

— О чем позаботился?

— У его друга есть самолет. Как только ты полностью придешь в себя, милый, мы сядем в самолет, улетим в какое-нибудь чудесное местечко, где тебя никто не знает, и начнем новую жизнь.

28: МИШЕНЬ...

Я пошел проводить Джорджа Крафта в тире, оборудованном Джоунзом у себя в подвале. И нашел его в начале длинного коридора, дальний конец которого был заложен мешками с песком. На мешках прикрепили мишень в форме человека.

Мишень являла собою карикатурное изображение курящего сигару еврея, попирающего ногами изломанные кресты и крохотных обнаженных женщин. В одной руке еврей держал мешок с деньгами, украшенный словами «международное банкирство». В другой — русский флаг. Карманы его были набиты взывающими о помощи детьми и их родителями, выдержанными в той же пропорции, что и крохотные женщины, которых еврей топтал ногами.

Конечно, с моего конца коридора всех этих подробностей было не различить, но мне-то подходить ближе, чтобы рассмотреть их, не требовалось.

Мишень нарисовал я. Году, кажется, в сорок первом. Она так ублажила мое начальство, что меня премировали десятифунтовым окороком, тридцатью галлонами бензина и недельным оплаченным отпуском с женой в «Шрейберхаусе», в Ризенгебирте.

Должен признать, то с мишенью я перестарался — ведь я не занимался к нацистам художником, — каковой факт и представляю для обоснования выдвигаемых против меня обвинений. Думаю, факт моего авторства является новостью даже для Института документации военных преступлений в Хайфе. Однако прошу принять во внимание, что нарисовал сие чудовище, стремясь всемерно упрочить свою репутацию ярого нациста.

Я намеренно сгустил краски, создавая мишень, и за пределами Германии, или подвала Джоунза, ее к всерьез-то никто бы не принял. Да и нарисовал я ее куда менее профессионально, чем мог бы.

Тем не менее она обрела успех.

Да такой, что просто ошеломил меня.

Гитлерюгенд и новобранцы СС никакими иными мишенями почти и не пользовались, а Генрих Гиммлер даже удостоил меня письменной похвалы. «Благодаря Вашей мишени, я стал стрелять во сто крат лучше, — написал он. — Ибо у чистокровного арийца она не может не вызывать порыва стрелять наповал».

Глядя, как Крафт выпускает по моей мишени пулю за пулей, я

впервые понял причины ее успеха. Любительская нечеткость рисунка придавала ей сходство с изображениями, нацарапанными на стене в общественной уборной, вызывая в памяти вонь, тусклое освещение, гулкий резонанс сырого воздуха и гнусную уединенность кабинки — ну, точно это душевного состояния человека на войне.

Рисунок удался лучше, чем мне бы того хотелось.

Не замечая меня, укутанного в «леопардовую шкуру», Крафт выстрелил снова. Стрелял он из «люгера», огромного, как гаубица, но с патронником и нарезкой, подогнанными под малокалиберные патроны. Поэтому выстрелы звучали разочаровывающе тихо. Крафт снова спустил курок, и из мешка в двух футах от головы мишени посыпалась струйка песка.

— Попробуй в следующий раз с открытыми глазами, — посоветовал я.

— О, — воскликнул Крафт, опустив пистолет, — да ты уже на ногах!

— Как видишь.

— Ужас просто, что случилось!

— И не говори.

— Но, может, оно и к лучшему. Может, мы еще возблагодарим за это Господа.

— Почему? — спросил я.

— Потому, что нас вышибло из наезженной колеи.

— Это уж точно.

— Уедешь из Америки со своей девушкой, обрешь новую среду, новое лицо — и начнешь писать снова, — сказал Крафт. — В десять раз лучше, чем когда-либо раньше. Подумай только, какую теперь привнесешь в свое творчество зрелость!

— Сейчас у меня слишком болит голова... — начал я.

— Скоро пройдет, — перебил меня Крафт. — Голова у тебя цела и полнится захватывающе ясным пониманием себя и мира.

— Гм, — хмыкнул я.

— И моей живописи смена обстановки только пойдет на пользу, — продолжал Крафт. — Я ведь никогда раньше не видел тропиков, не видел этого животного буйства красок, не испытал этой ощутимой глазом, слышимой ухом раскаленной жары...

— При чем тут тропики?

— Разве мы не в тропики направляемся? — удивился Крафт. — Но ведь и Рези тоже выбрала тропики.

— Так ты едешь с нами? — понял я.

— Если ты не против.

— Да, народ тут действовал вовсю, пока я спал, — сказал я.

— Разве мы поступили дурно? — спросил Крафт. — Сделали что-то во вред тебе?

— Зачем тебе связываться с нами, Джордж? Тебе-то зачем этот подвал с тараканами? У тебя-то ведь врагов нет. А свяжись с нами — и все мои враги станут и твоими тоже.

Обняв меня за плечи, Крафт поглядел мне прямо в глаза.

— Говард, — сказал он, — после смерти моей жены у меня не осталось никого на свете, к кому бы я был привязан. Ведь я тоже стал никчемным обломком бывшего государства двоих.

Но потом я обрел нечто, чего не знал никогда ранее — истинную дружбу. И рад связать свою судьбу с твоею, друг. Ничто иное не в малейшей степени не привлекает меня. И если ты не против, моим краскам и мне самому нечего желать иного, как быть с тобою, куда бы тебя ни забросила Судьба.

— Да, это... это и есть настоящая дружба, — сказал я.

— Надеюсь, что так, — ответил Крафт.

29: АДОЛЬФ ЭЙХМАН И Я...

В этом странном подвале я и провел два дня, поправляясь и предаваясь размышлениям.

Поскольку во время избиения одежда моя изрядно пострадала, мне подобрали кое-что из гардероба доктора Джоунза и его домочадцев. От отца Кили мне достались лоснящиеся черные брюки, а от доктора Джоунза — серебряного цвета рубашка, оставшаяся от униформы ныне распавшегося движения американских фашистов, которое так без фокусов и называлось — Серебряные рубашки. А Черный Фюрер пожертвовал мне крохотную оранжевую спортивную курточку, в которой я выглядел, как обезьянка шарманщика.

Рези Нот и Джордж Крафт нежно пеклись обо мне на каждом шагу, и не только меня нянчили, но и строили за меня планы и мечты. Самой большой мечтой было как можно скорее унести из Америки ноги. Разговоры, в которых я почти не принимал участия, принимали характер рулетки, в которой разыгрывались теплые края, где нас должен был ждать Эдем: Акапулько... Майорка... Родос... упоминались даже долина Кашмира, Занзибар и Андаманские острова.

Новости, поступавшие из внешнего мира, не способствовали мысли о желательности или даже возможности оставаться в Америке. Отец Кили ходил за газетами по несколько раз на день, а источником дополнительной информации нам служила болтовня радио.

Государство Израиль еще более настоятельно требовало моей выдачи, тем более ободренное слухами о лишении меня американского гражданства и о том, что по сути дела я вообще никакого гражданства не имел. К тому же требования о моей выдаче были сформулированы с просветительским уклоном, то есть разъясняли, что пропагандист моего сорта не в меньшей степени является убийцей, чем Гейдрих, Эйхман, Гиммлер или любой другой из этого мрачного ряда.

Может, оно и так. Я-то надеялся, что мои радиопередачи будут восприниматься не более чем абсурдно смехотворные, но трудно быть смехотворным в мире, где столь многие туги на смех, не способны к мысли и так предрасположены верить, рычать и ненавидеть. Столь многие *хотели* верить мне!

Говорите что хотите о благодати чуда слепой веры, я же способность к ней считаю ужасающей и беспредельно гнусной.

Западная Германия вежливо запросила правительство США, не являюсь ли я ее гражданином. Никаких данных, опровергающих либо доказывающих это, не нашлось, поскольку все материалы на меня сгорели во время войны. Но если я их гражданин, сообщили немцы, то они не менее Израиля жаждали бы привлечь меня к суду.

Практически они хотели сказать, что если я — немец, то им стыдно за такого немца.

Советская Россия изложила свою позицию в нескольких словах, звучащих, будто на мокрый гравий уронили шарикоподшипники. Не надо никаких судов, сказали оттуда. Давить таких фашистов, как тараканов, и все дела.

Но самой реальной опасностью внезапной смерти пахнуло от моих разгневанных соотечественников. Наиболее кроважанные газеты публиковали без комментариев письма от тех, кто требовал возить меня от побережья к побережью в железной клетке; от героев, вызывавшихся участвовать в моем расстреле, будто страна испытывала дефицит людей, умевших владеть огнестрельным оружием; от тех, кто не собирались палец о палец ударить сами, но достаточно глубоко верили в американскую цивилизацию, чтобы знать: найдутся другие, помоложе и посильнее, которые разберутся, как тут быть.

Тут-то патриоты не ошиблись. Вряд ли когда-либо существовало общество, в котором не сыскалось бы сильных и молодых людей, жаждущих вкусить убийства, коль скоро ничем особо страшным за него не накажут.

По сообщениям газет и радио, ведомые праведным гневом граждане уже отомстили мне, чем могли, вломившись в мою крысиную мансарду, перебив стекла и распотрошив пожитки, унеся, что можно, с собой. После чего ненавистный народу чердак денно и ночью держался полицией под охраной.

Передовица в «Нью-Йорк пост» отметила, что полиция вряд ли сумеет обеспечить меня требуемой защитой, столь многочисленны и столь полны вполне понятной жаждой убийства были мои враги. Да тут батальон морской пехоты требуется, беспомощно вздыхала «Пост», чтобы держать меня под охраной до конца дней моих.

«Нью-Йорк дейли ньюс» высказала мнение, что самое гнусное свое военное преступление я совершил, не покончив с собой, как джентльмен.

Гитлер, выходит, был джентльмен.

«Ньюс», кстати сказать, опубликовала и письмо Бернарда О'Хэа, того самого, кто арестовал меня в Германии и недавно прислал письмо мне с

копиями во все концы.

«Я с этим типом хочу расправиться собственноручно, — писал О'Хэа. — Я заслужил, чтобы его отдали мне на единоличную расправу. Ведь это я поймал его в Германии. Знай я тогда, что он улизнет, тут же на месте шею б ему свернул. Если кто наткнется на Кэмпбелла раньше меня, пусть ему скажет, что Берни О'Хэа уже мчится из Бостона без пересадки».

Как отмечала «Нью-Йорк таймс», то, что приходится терпеть и даже защищать такую мразь, как я, является одним из необходимых условий функционирования истинно свободного общества — условий, приводящих в исступление, но неизбежных.

Рези узнала, что правительство США выдавать меня Израилю не собирается в виду отсутствия соответствующего юридического механизма.

Однако правительство США обещало открыто и досконально рассмотреть мое обескураживающее дело, точно определить статус моего гражданства и установить, почему я не был предан суду.

Правительство выразило также легкое недоумение касательно того, что я до сих пор находился в стране.

«Нью-Йорк таймс» опубликовала мой снимок в куда более молодые годы, мой официальный фотопортрет нацистского функционера и идола международного эфира. Не помню точно, какого он года, кажется — сорок первого.

Арндт Клопфер, фотограф, который меня снимал, вон из кожи лез, стараясь снять меня под Христа работы Максфилда Пэрриша^[8], у которого тот всегда выходил будто намазанный кольдкремом. Он даже сделал мне нимб над головой, мастерски осветив задний план туманным отблеском лампы. Но это он не просто ради меня старался, он всех снимал с нимбом, и Адольфа Эйхмана тоже.

Это я могу сказать об Эйхмане точно, даже не прося подтверждения у института в Хайфе, потому что Эйхман снимался у Клопфера прямо передо мной. Это была моя единственная встреча с Эйхманом — единственная в Германии. Второй раз я встретился с ним в Израиле, всего лишь две недели назад, когда меня некоторое время держали в тель-авивской тюрьме.

Об этой встрече: в тель-авивской тюрьме я провел сутки. Когда меня вели в камеру, конвой остановил меня у камеры Эйхмана — хотели послушать, что мы друг другу скажем, если найдется, что друг другу сказать.

Мы не узнали друг друга, и конвою пришлось представлять нас.

Эйхман писал повесть о своей жизни — как и я сейчас пишу о своей. Этот облезший старый стервятник без подбородка, которому предстояло

объясняться в убийстве шести миллионов человек, встретил меня благообразной улыбочкой. Он проявлял любезное внимание к моей работе, ко мне, к тюремщикам, ко всему на свете.

Он еще раз одарил меня щедрой улыбкой и сказал:

— Я ни на кого не сержусь.

— Что же, только так и надо, — согласился я.

— И хочу вам дать совет.

— Буду рад, — ответил я.

— Сбросьте напряжение, — посоветовал он, весь сияя бесконечной улыбкой. — Просто расслабьтесь, и все.

— Вот так я сюда и попал, — ответил я.

— Вся жизнь делится на фазы, — объяснял Эйхман. — Одна на другую не похожа, а вы должны угадать, что в какой фазе от вас требуется. Вот и весь секрет жизненного успеха.

— Очень любезно с вашей стороны поделиться этим секретом со мной.

— Теперь я писатель, — сообщил Эйхман. — Никогда не думал, что стану писателем.

— Позвольте личный вопрос? — осведомился я.

— Разумеется, — милостливо ответил Эйхман. — Я сейчас как раз в той фазе, когда наступает время для раздумий и ответов. Спрашивайте о чем угодно.

— Вы ощущаете себя виновным в убийстве шести миллионов евреев? — спросил я.

— Никоим образом, — отвечал создатель Освенцима, автор применения конвейеров в крематориях и крупнейший в мире потребитель газа, именуемого «Циклон-Б».

Толком не зная Эйхмана, я позволил себе подпустить в разговор немного скрытого сарказма — вернее, то, что я считал скрытым сарказмом:

— Вы ведь просто были солдатом, — сказал я, — и, как и любой солдат в любой стране, всего лишь выполняли приказы вышестоящего начальства?

Обернувшись к конвоиру, Эйхман с пулеметной быстротой негодуя выпалил несколько фраз на идиш. Говори он медленней, я разобрал бы слова, но так для меня было слишком быстро.

— Что он сказал? — любопытствовал я у конвоира.

— Спрашивал, не показывали ли вам его заявление. Он взял с нас слово, что мы никому не покажем текст, пока он его окончательно не доработает.

— Нет, я его не видел, — объяснил я Эйхману.

— Так откуда же вам известна моя линия защиты? — спросил Эйхман.

Он и вправду верил, что изобрел сей банальный прием, хотя до него подобным же образом защищался целый народ численностью более девяноста миллионов. К этому и сводилось все его понимание Богоравного явления человеческого творчества.

Чем больше я размышляю об Эйхмане и о себе, тем чаще прихожу к выводу, что его место — в больнице, а я и есть тот тип человека, для которого изобретают кару честные и справедливые люди.

Как сочувствующий суду, пред которым предстанет Эйхман, я высказываю мнение, что Эйхман не способен различать добро и зло, что не только добро и зло, но также правда и ложь, надежда и отчаяние, красота и уродство, доброта и жестокость без разбору смешались в голове Эйхмана, словно дробь в охотничьем рожке.

У меня же совсем иной случай. Я всегда отдаю себе отчет в собственной лжи и вполне способен представить все жестокие последствия того, что моей лжи кто-то может поверить; и знаю, что жестокость отвратительна. Для меня так же невозможно не заметить, что я солгал, как невозможно не заметить, что у меня вышел из почки камень.

Если после этой нам суждена еще одна жизнь, то в следующей жизни мне бы очень хотелось быть человеком, о котором воистину можно сказать: «Простите его, ибо он не ведает, что творит».

Чего сейчас обо мне сказать нельзя.

На мой взгляд, способность отличать добро от зла дает лишь одно преимущество: я хоть иногда способен смеяться, а Эйхману понимание смешного недоступно.

— Вы по-прежнему пишете? — спросил меня Эйхман, там, в Тель-Авиве.

— Последнюю свою работу, — ответил я. — Образцовый труд для архивов.

— Ведь вы — профессиональный литератор? — уточнил Эйхман.

— Кое-кто считает так, — кивнул я.

— Тогда скажите, — попросил Эйхман, — вы выделяете для письма определенное время дня независимо от того, есть у вас настроение или нет, либо ждете прилива вдохновения, будь то днем или ночью?

— Я работаю по графику, — ответил я, вспоминая далекие годы.

В известной мере это вернуло ему уважение ко мне.

— Да, да, — закивал он. — И я пришел к такому же выводу. График

необходим. Иногда я лишь просто смотрю на чистый лист бумаги, но я все равно сижу за столом и не свожу глаз с чистого листа на протяжении всего времени, отведенного мною для работы. А алкоголь помогает?

— По-моему, только кажется, будто помогает, — сказал я, — да и то не более чем на полчаса. — И это мнение я вынес из лет моей юности.

Эйхман решил пошутить.

— А, знаете, — начал он, — вот насчет тех шести миллионов...

— Да?

— Могу уделить вам парочку-другую из них для вашей книги, — хихикнул он. — Мне-то зачем так много.

Полагая, что на пленку наш разговор не записывался, преподношу сию шутку истории. Типичная такая запоминающаяся шуточка Чингисхана от бюрократии.

Возможно, Эйхман хотел заставить меня осознать, что и я убил массу людей длинным своим языком. Но вряд ли он был настолько тонок при всей его многоликости. Наверное, начни мы когда-нибудь выяснять это всерьез, из всех своих шести миллионов убийств он не уступил бы мне ни одного. Ведь начни он раздавать их направо и налево, образ Эйхмана, каким его видел сам Эйхман, поблек бы и исчез навсегда.

Конвой увел меня, и единственный наш следующий контакт с Человеком Века состоялся в форме записки, таинственным образом переправленной из его тель-авивской тюрьмы в мою иерусалимскую. Записку уронил у моих ног в прогулочном дворике неизвестный мне заключенный. Я подобрал ее и прочитал следующее: «Как, по-вашему, без литературного агента обойтись никак нельзя?» И подпись — «Эйхман». Я послал ответ: «Если хотите попасть в список книжного клуба и делать по книге фильм — никак».

30: ДОН КИХОТ...

Мы решили лететь в Мехико-Сити: Крафт, Рези и я. Таков был принят план. Доктор Джоунз же собирался обеспечить не только самолет, но и теплую встречу на месте.

Из Мехико-Сити мы отправимся на машине, обследуем окрестности, найдем подходящую деревушку и осядем там до конца дней своих.

Такой очаровательной фантазии мне давно уже в голову не приходило. И казалось не только возможным, но и безусловным, что я снова начну писать.

Я робко сказал об этом Рези.

Она заплакала от радости. Искренней ли? Кто знает. Я могу лишь засвидетельствовать слезы — мокрые и соленые.

— Неужели я хоть как-то причастна к этому невероятному, этому божественному чуду? — спросила она.

— Всецело, — ответил я, обнимая ее и привлекая к себе.

— Нет, совсем чуточку, — ответила Рези, — но хоть чуточку, благодарение Богу за это. Самое большое чудо — это талант, с которым ты родился.

— Самое большое чудо, — возразил я, — это твой талант воскрешать мертвых.

— Воскрешает любовь. И меня любовь воскресила тоже. Разве раньше я жила?

— Написать об этом? — спросил я. — Станет ли что моей первой темой в нашей мексиканской деревушке на краю Тихого океана?

— Да! Да, о, конечно, да, мой милый. А я так буду заботиться о тебе, пока ты будешь писать. Но... но у тебя будет оставаться хоть сколько-то времени для меня?

— Полудни, вечера и ночи. Вот и все время, что я смогу тебе уделить.

— Ты уже придумал имя? — спросила Рези.

— Какое имя?

— Свое новое имя — имя нового писателя, чьи замечательные книги вдруг начнут таинственно появляться в Мексике. А я буду миссис...

— Ты будешь «сеньора».

— Сеньора кто? Сеньор и сеньора...

— Окрести нас, — сказал я.

— Слишком ответственное дело, чтобы решать с ходу, — возразила

Рези.

В этот момент вошел Крафт.

И Рези попросила его придумать мне псевдоним.

— А что, если — Дон Кихот? — предложил Крафт. — Тогда вы, — сказал он Рези, — становитесь Дульсинеей Тобосской, а я буду подписывать свои холсты — Санчо Панса.

Вошли доктор Джоунз с отцом Кили.

— Самолет будет готов завтра утром, — сообщил доктор Джоунз. — Вы уверены, что будете достаточно хорошо себя чувствовать, чтобы лететь?

— Я и сейчас достаточно хорошо себя чувствую.

— В Мехико-Сити вас встретит человек по имени Арндт Клопфер.

Запомните имя?

— Фотограф? — спросил я.

— Вы его знаете?

— Он делал мой официальный фотопортрет в Берлине.

— Сейчас он владелец крупнейшего пивоваренного завода в Мексике, — сообщил Джоунз.

— Надо же, — удивился я. — Последнее, что я слышал о нем, — в его ателье угодила пятисотфунтовая бомба.

— Хорошего человека в землю не вобьешь, — заметил Джоунз. — А теперь отец Кили и я хотели бы обратиться к вам с особой просьбой.

— Да.

— Сегодня вечером — еженедельное собрание Железной гвардии белых сынов конституции, — объяснил Джоунз. — Мы с Кили планируем мемориальную службу в память Августа Крапптауэра.

— Понятно, — кивнул я.

— Не сможем мы с отцом Кили сдержаться, говоря о нем поминальное слово, — объяснил доктор Джоунз. — Такое эмоциональное испытание нам не по силам. Но вы, знаменитый оратор, золотой язык, так сказать, не сочли бы вы за честь сказать несколько слов.

Деваться было некуда.

— Благодарю вас, господа, — ответил я. — Поминальное слово?

— Отец Кили предложил основную тему, может, построить выступление вокруг нее будет легче.

— О, разумеется, разумеется, зная тему, говорить легче, — согласился я. — Она, разумеется, весьма мне поможет.

Отец Кили откашлялся.

— Думаю, — произнес выживший из ума старый поп, — за основу

выступления должен быть взят тезис: «Но дело его живет».

31: «НО ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ...»

Железная гвардия белых сынов американской конституции расселась на рядах складных стульев в каминной подвала доктора Джоунза. Состояла она из двадцати гвардейцев в возрасте от семнадцати до двадцати лет.

Все были аккуратно одеты в костюмы и белые рубашки с галстуками. Единственным знаком принадлежности к гвардии служили крохотные золотые ленточки, вдетые в петлицу правого лацкана.

Я бы и не заметил этих странных петлиц на правых лацканах, где обычно петлиц не делают, не обрати на них мое внимание доктор Джоунз.

— Это для того, чтобы они могли опознавать друг друга даже без ленточки, — объяснил он. — И продвижение по службе видно, хотя скрыто от посторонних глаз.

— Им всем приходится обращаться к портным, просить прорезать на правом лацкане петлицы? — спросил я.

— Матери делают, — ответил отец Кили.

Кили, Джоунз, Рези и я сидели на небольшом помосте лицом к гвардейцам, спинами к камину. Рези сидела с нами, поскольку согласилась сказать ребятам несколько слов о личном опыте знакомства с коммунизмом за «железным занавесом».

— Портные почти все евреи, — заметил доктор Джоунз. — Мы не хотим выдавать себя.

— Да и матерям тоже полезно приобщиться, — добавил отец Кили.

К нам на помост поднялся шофер Джоунза, Черный Фюрер Гарлема, и укрепил за нашими спинами большое полотнище с лозунгами, привязав его веревками со вшитыми кренгельсами за трубы парового отопления.

Лозунги гласили: «Набирайся знаний!», «Будь в своем классе первым во всем!», «Блюда чистоту и силу тела!», «Не распускай язык!».

— Ребята местные? — спросил я Джоунза.

— Нет, нет, — ответил тот. — Только восемь из них вообще нью-йоркцы. Девять из Нью-Джерси, двое из Пикскилла — вон те близнецы, а один ездит аж из Филадельфии.

— Каждую неделю ездит из Филадельфии? — переспросил я.

— Где же еще ему найти то, что предлагал здесь Август Крапштауэр? — вздохнул Джоунз.

— Как их навербовали? — поинтересовался я.

— Через мою газету. Но, в общем-то, все они пришли сами.

Сознательные обеспокоенные родители все время присылали письма в «Уайт крисчен минитмен», спрашивая, существует ли молодежное движение, борющееся за чистоту американской крови. Одно из самых душераздирающих писем за всю мою жизнь я получил от женщины из Бернардсвилля, штат Нью-Джерси. Она позволила своему мальчику вступить в «БСА» — «Бойскауты Америки», не подозревая, что по-настоящему «БСА» следовало бы расшифровывать «Большевики-семиты Америки». И что вы думаете? В скаутах мальчишка дорос до «орла», а потом ушел в армию, пошел служить в Японию и вернулся домой с женой-японкой!

— Август Крапштауэр плакал, читая это письмо, — вставил отец Кили. — Вот тогда-то он и понял, что, несмотря на усталость, должен вернуться к работе с молодежью.

Объявив собрание открытым, отец Кили предложил всем помолиться. Молитву он прочитал заурядную, насчет мужества перед лицом вражеских орд.

Один штрих церемонии, правда, выглядел весьма незаурядным, такого я и в Германии не видел. У задней стены стоял с литаврой Черный Фюрер. Литавра была укутана, чтобы приглушить звук — укутана той самой искусственной леопардовой шкурой, в которую вместо халата укутывался я. Каждую фразу молитвы Черный Фюрер заключал ударом в приглушенную литавру.

Выступление Рези о ужасах жизни за «железным занавесом» вышло коротким и скучным и столь неудовлетворительным с образовательной точки зрения, что Джоунзу пришлось задавать ей наводящие вопросы.

— Ведь правда, что преданные коммунисты в большинстве своем люди еврейской или азиатской крови? — спросил он.

— Что? — переспросила Рези.

— Конечно, правда, — сам себе ответил Джоунз, — это же само собой разумеется.

И довольно бесцеремонно закончил ее выступление.

Где в это время был Джордж Крафт? Сидел в последнем ряду, прямо перед приглушенной литаврой.

Затем Джоунз представил аудитории меня, представил как человека, в представлениях не нуждавшегося. Но сразу же мне слова не дал, объяснив, что приготовил сюрприз для меня.

И какой!

Оставив свою литавру, Черный Фюрер шагнул к реостату у выключателя и начал постепенно приглушать освещение, пока Джоунз

продолжал говорить.

А говорил Джоунз в сгущающейся тьме о моральном и интеллектуальном климате Америки во время второй мировой войны. О том, как преследовали за убеждения патриотичных и дальновидных белых людей, как, наконец, почти все американские патриоты были брошены в застенки федеральных тюрем.

— И нигде американец не мог более найти слова правды, — сказал он.

В зале стало темно хоть глаз выколи.

— Почти нигде, — продолжал в темноте Джоунз. — По если кому повезло иметь коротковолновый приемник, один источник правды еще оставался. Один-единственный.

И вдруг в темноте послышались звуки и трель коротковолнового эфира, обрывки французской речи, затем немецкой, такты Первой симфонии Брамса, звучавшие так, будто ее исполняли на детской дудке-сопелке, а затем четко и ясно:

«Говард Кэмпбелл-младший, один из немногих последних свободных американцев, говорит из свободного Берлина. Я хочу приветствовать моих соотечественников, то есть чистокровных белых американцев, солдат сто шестой дивизии, занимающих сегодня позиции у Сент-Вита. Родителям ребят, служащих в рядах этой необстрелянной дивизии, хочу сообщить, что в районе ее расположения сейчас боев нет. Четыреста сорок второй и четыреста сорок четвертый полки выдвинуты на передовую, четыреста двадцать третий полк находится в резерве.

Журнал „Ридерс дайджест“ опубликовал замечательную статью под названием „В окопах не встретишь атеистов!“. Развивая эту, тему, замечу, что, хотя войну развязали евреи и только евреи в ней и победят, в окопах евреев не встретишь тоже. Пехотинцы сто шестой дивизии вам это подтвердят. Евреи слишком заняты, пересчитывая товар в интендантской службе, или деньги в финансовой службе, или торгуя на черном рынке в Париже сигаретами и нейлоном, чтобы очутиться хотя бы в ста милях от линии фронта.

Земляки там, в Америке! Родные и близкие мальчиков на фронте! Припомните-ка всех известных вам евреев! Припомните хорошенько!

А теперь позвольте вас спросить. Они от этой войны обеднели или разбогатели? У вас сейчас вроде карточки. Но они

сейчас едят лучше или хуже? Одеваются хуже или лучше вас? И бензина им достается меньше, чем вам, или больше?

Я-то ответы на все эти вопросы уже знаю, и вы будете знать их тоже, если только откроете наконец глаза и как следует задумаетесь.

А теперь позвольте вас спросить вот о чем:

Знаете ли вы хоть одну еврейскую семью, получившую телеграмму из Вашингтона — бывшей столицы свободного народа, — так вот, знаете ли вы хоть одну еврейскую семью, получившую из Вашингтона телеграмму, начинавшуюся следующим образом: „Министр обороны поручил мне выразить его глубочайшие соболезнования в связи с тем, что ваш сын...“»

И так далее.

Говард У. Кэмпбелл-младший, свободный американец, вещал в темном подвале еще с четверть часа. И я отнюдь не пытаюсь отмахнуться от своего позора небрежным «и так далее».

Институт документации военных преступлений в Хайфе располагает записями всех без исключения выступлений Говарда У. Кэмпбелла-младшего. Если кому угодно прослушать их и подобрать из них самые мерзкие мои высказывания, то я не возражаю, если подобной подборкой в качестве приложения сопровождают мое повествование.

Отрицать свои речи я никак не могу. Могу лишь сказать, что сам в них никогда не верил и прекрасно знал, что несу мракобесную, подстрекательскую, непристойно издевательскую мерзость.

И сейчас, слушая здесь во тьме самого себя, я даже не испытал шока. Для защиты, может, и помогло бы, скажи я, что покрылся холодным потом или еще какую чушь. Но ведь я всегда отдавал себе отчет в содеянном. И всегда был способен с этим жить. Как? С помощью простого и общедоступного дара человечеству — шизофрении.

Одна во тьме произошла занятная вещь, достойная упоминания. Кто-то сунул мне записку в карман, и сделал это умышленно неловко, чтобы я понял, что мне сунули записку.

Но кто сунул, я так и не сумел понять, когда свет зажегся снова.

Я произнес панегирик Августу Крапптауэру, высказав, кстати, вполне искреннее убеждение в том, что дело Крапптауэра будет, по всей вероятности, жить с человечеством вечно, пока не переведутся люди, слушающие голос сердца, а не разума.

Моя речь удостоилась дружеских аплодисментов аудитории и удара в

литавру Черного Фюрера.

А я пошел в уборную прочитать записку.

Записка была напечатана на листочке, вырванном из маленького блокнота на спиральке. И гласила:

«Дверь у бака с углем отперта. Уходите немедленно. Жду в заброшенном складе прямо через дорогу. Торопитесь, Ваша жизнь в опасности. Записку съешьте».

Подписана она была моей Голубой Феей-Крестной — полковником Фрэнком Уиртаненом.

32: РОЗЕНФЕЛЬД...

Здесь мой иерусалимский адвокат г-н Элвин Добровиц считает, что я наверняка выиграю дело в суде, сумею я представить хотя бы одного свидетеля, видевшего меня в обществе человека, известного мне как полковник Фрэнк Уиртанен.

Я встречался с Уиртаненом три раза: перед войной, сразу после войны и, наконец, в задней комнате пустующего складского помещения через дорогу от резиденции преподобного доктора Лайонела Дж. Д. Джоунза, доктора богословия и медицины.

Видеть нас вместе можно было только во время первой встречи на скамейке в парке. Но те, кто мог нас видеть, вряд ли запомнили нас лучше, чем виденных в тот день птиц или белок.

Вторая наша встреча имела место в Германии, в Висбадене, в столовой бывшего военно-инженерного училища вермахта. На стене столовой огромная фреска изображала танк, ползущий по красиво извивающейся проселочной дороге. На фреске светило солнце и сияло ясное небо. Но этой буколической картинке не долго оставалось жить.

В зарослях кустарника на переднем плане фрески скрывалась удалая шайка робин гудов в стальных касках, саперов, последней шуткой которых была засада: они заминировали проселок и для вящего удовольствия подготовили к грядущему развлечению противотанковую пушку и ручной пулемет.

Счастья полные штаны.

Как я попал в Висбаден?

Пятнадцатого апреля, три дня спустя после моего ареста лейтенантом Бернардом Б. О'Хэа, меня забрали из лагеря военнопленных Третьей армии близ Ордруфа.

В Висбаден меня привезли на джипе под конвоем старшего лейтенанта, чьего имени я так и не узнал, Мы почти не разговаривали, я его не интересовал. Всю дорогу его снедала тихая ярость по какому-то поводу, ко мне отношения не имевшему. Обидели его? Оскорбили? Обманули? Унизили? Превратно поняли? Не знаю.

Да и все равно он бы мне в свидетели не годился. Он выполнял приказ, явно ему докучавший. Спрашивал дорогу сначала к расположению части, затем к столовой. Проводил меня до двери, приказал войти в столовую и ждать. А потом укатил, оставив меня без конвоя.

Я вошел в столовую, хотя без труда мог дать деру.

И в этом грустном сарае, в полном одиночестве, сидела на столе под фреской моя Голубая Фея-Крестная.

Уиртанен был одет в форму американского солдата — куртка на молнии, защитного цвета брюки и рубашка с распахнутым воротом, сапоги. Оружия не носил, как и каких-либо знаков различия.

Он был коротконог. Когда я увидел его сидящим на столе, он болтал ногами и ноги не доставали до пола. К тому времени ему было не меньше пятидесяти пяти, то есть на семь лет больше, чем во время нашей первой встречи. Он облысел и располнел.

Полковник Фрэнк Уиртанен смахивал на нахального розовощекого младенца — почему-то сочетание победы и американской полевой формы придавало подобный вид многим немолодым людям.

Весь расплывшись в улыбке, он тепло пожал мне руку и спросил:

— Итак, как вам понравилась *эта* война, Кэмпбелл?

— Лучше б я в нее не лез.

— Поздравляю, — сказал Уиртанен. — Как бы там ни было, вы дожили до ее конца. Многим этого не удалось, знаете ли.

— Знаю. Моей жене, например.

— Глубоко сожалею об этом, — сказал Уиртанен и добавил: — Я узнал о том, что она пропала без вести, в тот же день, что и вы.

— Каким образом?

— От вас, — объяснил Уиртанен. — Это было среди сообщений; переданных вами в этот день.

Известие о том, что передавал шифровку об исчезновении моей Хельги, передавал, сам того не зная, почему-то огорчило меня больше всего во всей этой истории. Мне до сих пор от этого горько. Почему — не знаю.

Наверное, потому, что здесь проявилась столь глубокая щель между моими разными «я», что думать о ней даже мне не под силу.

В тот переломный момент моей жизни, когда приходилось поверить в смерть Хельги, мне хотелось оплакивать ее всей своею измученной, но цельной душою. Так нет же, одному из моих «я» выпало вещать на весь мир о моей трагедии шифром. А остальные мои «я» и знать об этом не знали.

— Это тоже составляло жизненно важные военные сведения, которые необходимо было передать из Германии, рискуя моей головой? — спросил я Уиртанена.

— Естественно, — ответил тот. — Получив их, мы немедленно начали

действовать.

— Действовать? — Я ничего не мог понять. — Как действовать?

— Подыскивать вам замену, — объяснил Уиртанен. — Думали, вы покончите с собой, не дотянув до рассвета.

— Так и надо было сделать.

— А я чертовски рад, что не сделали.

— А я чертовски жалею, что не сделал. Казалось бы, человеку, столько прожившему в театре, как я, следовало знать, когда пора умирать герою, если он, разумеется, герой. — Я мягко щелкнул пальцами. — Вот и не удалась моя пьеса «Государство двоих» о нас с Хельгой, потому что я упустил момент для отличной сцены самоубийства.

— Не люблю самоубийц, — сказал Уиртанен.

— А я люблю форму, — объяснил я. — Люблю вещи с началом и концом. И с моралью везде, где возможно.

— Думаю, еще есть надежда, что она жива, — предположил Уиртанен.

— Авторский недосмотр. Не имеет больше значения. Пьеса закончена.

— Вы говорили что-то о морали? — напомнил Уиртанен.

— Покончи я с собой, когда вы этого от меня ожидали, может, какая-нибудь мораль вас бы и осенила.

— Да, надо подумать...

— Думайте в свое удовольствие.

— Не привык я к вещам с формой, да еще и с моралью, — вздохнул полковник. — Умри вы тогда, я б, наверное, сказал что-нибудь вроде: «Ах, черт, как же нам теперь быть?» Мораль? Хоронить мертвых и так трудно, а если еще из каждой смерти пытаться извлекать мораль... Половину павших мы и по именам не знали. Я мог бы сказать, что вы были хорошим солдатом.

— А был я им? — спросил я.

— Из всей агентурной сети, бывшей, так сказать, моим детищем, вы единственный прошли войну без провала, единственный, кто и выжил и не вызывает сомнений. Я тут вчера занимался весьма печальными подсчетами, Кэмпбелл. Вы, не провалившись и не погибнув, приходитесь один на сорок два.

— А люди, передававшие мне информацию?

— Погибли все до единой. Все, кстати сказать, были женщины. Семь женщин. И каждая, пока ее не схватили, жила лишь одним — поставлять вам информацию. Подумайте об этом, Кэмпбелл: снова, снова и снова вы доставляли удовлетворение семерым женщинам сразу, пока, наконец, они не заплатили жизнью за то удовлетворение, какое вы могли им дать. И ни

одна из них, провалившись, не выдала вас. Подумайте и об этом.

— Не сказал бы, что вы восполнили мне нехватку тем для размышления, — вздохнул я. — Никоим образом не желая принизить вашу роль учителя и философа, замечу, что и до нашей счастливой встречи мне было над чем подумать. Итак, что ждет меня теперь?

— Вы уже исчезли снова, — объяснил Уиртанен. — Вас изъяли из ведения Третьей армии, и никаких документов, свидетельствующих о вашем аресте, не сохранится. — Уиртанен развел руками. — Куда бы хотели уехать и кем хотели бы стать?

— Вряд ли меня где-либо встретят, как героя, — сказал я.

— Вряд ли.

— Вы знаете что-либо о моих родителях?

— С прискорбием вынужден сообщить вам о их смерти четыре месяца назад.

— О смерти обоих?

— Сначала скончался ваш отец, а сутки спустя — мать.

Я утер слезы. И покачал головой.

— Они так и не узнали, кем я был на самом деле?

— Наш радиопередатчик в самом центре Берлина был куда важнее душевного покоя двух стариков.

— Ну, не знаю, не знаю...

— Сомневаться — ваше право, — пожал плечами Уиртанен.

— Кто знал о моей работе?

— Хорошей или плохой?

— Хорошей.

— Три человека, — ответил Уиртанен.

— Всего-то? — удивился я.

— И то много, — возразил Уиртанен. — Даже чересчур. Знал я, знал генерал Донован и еще один человек.

— Лишь три души в мире знали меня настоящего, — вздохнул я. — А все остальные... — я махнул рукой.

— Все остальные тоже знали вас настоящего, — отрубил Уиртанен.

— Но тот, кого они знали, ведь был не я, — резкий тон Уиртанена удивил меня.

— Вы или не вы, но другого такого гнусного сукина сына, как он, мир не видел.

Я был ошеломлен. В голосе Уиртанена звучала искренняя ненависть.

— И вы ставите мне в вину... даже при всем том, что знаете... Да как же иначе я мог выжить?

— Это была ваша проблема, — отвечал Уиртанен. — И мало кто еще сумел бы решить ее так основательно, как вы.

— Так, по-вашему, я был нацист?

— А то нет. Как еще сумел бы классифицировать вас любой серьезный историк? Вот позвольте-ка спросить...

— Спрашивайте что угодно.

— Победи в войне Германия, захвати она весь мир... — Нахохлившись, Уиртанен запнулся на полуслове. — Я не успеваю за вами. Вы уже сами догадались, что я хотел спросить.

— Как бы я жил? Что было бы у меня на душе? И что бы я сделал?

— Вот именно, — выдохнул Уиртанен. — Не может быть, чтобы вы никогда не задумывались об этом. С вашим-то воображением.

— Воображение у меня уже не то, что раньше, — ответил я. — Одним из первых открытий, сделанных мною после начала агентурной работы, было то, что воображение для меня — непозволительная роскошь.

— Значит, ответа на мой вопрос у вас нет?

— Не все ли равно, когда проверять, остался ли у меня хоть гран воображения, или нет — сейчас или потом. Дайте мне пару минут...

— Сколько угодно, — ответил Уиртанен.

Оценив нарисованную Уиртаненом картину, остатки моего воображения дали убийственно циничный ответ.

— Все говорит за то, — признался я, — что я стал бы таким нацистским Эдгаром Гестом^[9], поставлявшим ежедневную колонку оптимистической чуши для газет всего мира. И потом, по мере впадения в сенильность — на закате жизни, как говорится, — поверил бы, наверное, даже собственным куплетам о том, что все, пожалуй, было к лучшему.

— Стрелял бы я в кого-нибудь? — я пожал плечами, — Сомневаюсь. Подложил бы бомбу? Это более вероятно, но я столько слышал взрывов бомб в свое время, и они никогда не казались мне эффективным средством достижения результатов. Точно сказать могу одно: пьес мне больше не писать. Какой там у меня ни был талант, теперь и того нет.

Единственного реального акта насилия во имя истины, справедливости или чего еще в этом духе можно было бы от меня ожидать, — объяснил я своей Голубой Фее-Крестной, — сойди я с ума и попытайся покончить с собой. Такое могло случиться. В ситуации, обрисованной вами, я мог бы внезапно съехать с катушек, оказавшись на тихой улице в обычный тихий день со смертоносным оружием в руках. Но нужна просто невероятная слепая удача, чтобы убийства, совершенные подобным образом, принесли миру пользу.

— Достаточно ли честно ответил я на ваш вопрос? — посмотрел я на Уиртанена.

— Да, благодарю вас, — ответил тот.

— Считайте меня нацистом, — вздохнул я устало. — Считайте кем угодно. Можно меня повесить, если находите, что моя казнь воспопешествует общему подъему морали. Эта жизнь — не Бог вещь какой подарок. И никаких планов на после войны у меня нет.

— Я просто хотел, чтобы вы поняли, как мало мы можем сделать для вас, — сказал Уиртанен. — И вижу, что вы это понимаете.

— В чем ваше «мало» заключается? — спросил я.

— В том, чтобы обеспечить вас новыми документами, запутать ваши следы, доставить в любое место, где вы захотите начать новую жизнь, и снабдить деньгами. Не очень густо, но снабдить.

— Деньгами? — переспросил я. — И как же исчисляется стоимость моих услуг в наличных?

— Согласно традиции, — отвечал Уиртанен. — Традиции, восходящей по меньшей мере к Гражданской войне.

— Вот как?

— Жалованье рядового, — объяснил Уиртанен. — По моему ручательству вам полагается жалованье рядового с той минуты, как мы встретились в Тиргартене, и по настоящий день.

— Надо же, какая щедрость.

— В нашем деле на щедрости далеко не уедешь, — сказал Уиртанен. — Настоящий агент работает не за деньги. Вам же без разницы, предложим мы вам сейчас жалованье бригадного генерала за все эти годы?

— Абсолютно.

— Или не заплатим мы вам вовсе?

— Без разницы.

— Нет, деньги редко служат мотивом, — продолжал Уиртанен. — Как, впрочем, и патриотизм.

— Что же тогда?

— На этот вопрос каждый должен ответить сам, — сказал Уиртанен. — В принципе, работа в разведке открывает каждому агенту неотразимую возможность сойти с ума по-своему.

— Интересно, — безразлично отозвался я.

Уиртанен хлопнул в ладоши, чтобы заставить меня встряхнуться.

— Ну, ладно, — воскликнул он. — Так куда вас отправить? Где бы вы хотели обосноваться?

— На Таити? — предположил я.

— Как скажете. Но я бы рекомендовал Нью-Йорк. Там можно без труда затеряться, да и работы всегда полно, если захотите работать.

— Нью-Йорк, так Нью-Йорк, — согласился я.

— Пошли, снимем вас на паспорт. И через три часа уже будете в самолете.

Мы вместе пересекли пустынный плац, по которому ветер гонял султанчики пыли. Мне стукнуло в голову увидеть в этих султанчиках призрак курсантов, погибших на фронте и вернувшихся поодиночке плясать и кружиться у себя на плацу самым невоенным образом, как только им заблагорассудится.

— Я сказал, что о ваших шифровках знали только трое... — начал Уиртанен.

— Ну и что?

— Вы даже не спросили, кто был третий, — закончил он фразу.

— Кто-нибудь, о ком я хоть краем уха слышал?

— Да, — сказал Уиртанен, — только, увы, его уже нет в живых. Но вы регулярно поносили его в своих передачах.

— Вот как?

— Вы именовали его Франклин Делано Розенфельд, — сказал Уиртанен. — И он каждый вечер с восторгом слушал вас.

33: КОММУНИЗМ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ...

В третий и — судя по всему — последний раз я встретился с моей Голубой Феей-Крестной, как уже отмечал, в пустующем складском помещении напротив дома, где скрывался с Рези и Джорджем Крафтом.

Я не ринулся наобум в мрачный неосвещенный склад, не без оснований ожидая встретить там кого угодно: от засады Американского легиона до израильских парашютистов, готовых схватить меня.

С собой я прихватил пистолет, один из «люгеров» железнодорожников с патронником для мелкашки. И держал его не в кармане, а в руке, заряженный и снятый с предохранителя, готовый к бою. Сначала я из укрытия осмотрел переднюю дверь склада. Свет там не горел. Тогда короткими перебежками от одних мусорных баков к другим я подобрался к черному ходу.

Попробуй кто схватить меня, попробуй кто схватить Говарда Кэмпбелла-младшего, всего прошью дырочками, мелкими, как иглы швейной машины. Должен сказать, что все эти броски и перебежки от укрытия к укрытию вызвали у меня прилив любви к пехоте. Не важно, к чьей.

Человек — пехотное животное, подумал я.

Из задней двери склада пробивался свет. Заглянув в окошко, я увидел картину безмятежного покоя. Полковник Фрэнк Уиртанен — моя Голубая Фея-Крестная — опять сидел на столе, поджидая меня.

Он стал совсем глубоким стариком, безволосым и гладким, как Будда.

Я вошел в дверь.

— Я-то думал, вы давно в отставке, — сказал я ему.

— Уже восемь лет как, — ответил он. — Построил дом на берегу озера в Мэйне. Топором, теслом, да собственными руками. Меня отозвали из отставки как специалиста.

— В чем? — спросил, я.

— В вас, — ответил он.

— С чего вдруг интерес ко мне?

— Это мне и поручено выяснить.

— Зачем я нужен израильтянам — абсолютно ясно, — пожал я плечами.

— Верно. Но абсолютно неясно, с чего вами так заинтересовались русские.

— Русские? — переспросил я. — Какие русские?

— Эта женщина, Рези Нот, и старик-художник, именуемый Джордж Крафт, оба работают на коммунистов. Агента, именующего себя Крафтом, мы «пасем» еще с 1941 года. И не препятствовали женщине въехать в страну, потому что хотели выяснить ее планы.

34: ALLES KAPUT...

У меня подкосились ноги, и я рухнул на какой-то ящик.

— Вы убили меня всего лишь парой тщательно подобранных фраз, — простонал я. — Насколько я был богаче всего лишь секунду назад!

— Друг, мечта и любимая — Alles Kaput, — сказал я.

— Друга вы не потеряли, — возразил Уиртанен.

— То есть?

— Он — как вы, — объяснил Уиртанен. — Способен быть несколькими людьми сразу, и каждым из них — абсолютно искренне. Это дар такой, — улыбнулся Уиртанен.

— Что он вокруг меня затеял?

— Хотел выпихнуть вас из Америки куда-нибудь за границу, где потом можно было бы вас похитить с меньшей опасностью международного скандала. Это он подбросил Джоунзу ваш адрес, он же и навел на вас О'Хэа и других патриотов, возбудив страсти. Все это часть плана побудить вас уехать.

— Мексика... Он заставил меня поверить в мечту о ней.

— Я знаю. В Мехико-Сити вас уже ждет самолет. Прилети вы туда, вам на земле и двух минут не провести. Тут же отправились бы в Москву новейшим реактивным самолетом с оплаченным билетом и туром.

— Доктор Джоунз с ним заодно?

— Нет. Доктор Джоунз искренне радуется о вас. Он — один из тех немногих, кому вы можете довериться.

— Я-то на кой ляд в Москве понадобился? На кой ляд русским старый заплесневелый ошметок списанного барахла второй мировой войны?

— Хотят предъявить вас миру как убедительное доказательство того, что в нашей стране скрывают фашистских военных преступников, — объяснил Уиртанен. — А также надеются, что вы сознаетесь во всевозможном сотрудничестве американцев с нацистами с самого становления нацистского режима.

— С чего они решили, что я признаюсь в чем-либо подобном? — удивился я. — Чем они собирались меня припугнуть?

— Это как раз яснее ясного, — пожал плечами Уиртанен. — На поверхности лежит.

— Пытки?

— Да нет. Смерть.

— Я смерти не боюсь.

— Да нет, не ваша смерть.

— Чья же тогда?

— Женщины, которую вы любите и которая любит вас, — ответил Уиртанен. — Ваша несговорчивость будет означать смертный приговор малышке Рези Нот.

35: СОРОК РУБЛЕЙ СВЕРХУ...

— Ее задание было добиться моей любви?

— Да.

— Что ж, она выполнила его блестяще, — горько вздохнул я. — Хотя особо стараться и не пришлось.

— Сожалею, что вынужден сообщать вам столь неприятные известия, — пробормотал Уиртанен.

— Теперь кое-что проясняется, — кивнул я, — хотя и не очень-то мне хотелось это прояснять... Вы знаете, что было у нее в чемодане?

— Собрание ваших работ.

— Вам и это известно? Подумать только — ведь пустились во все тяжкие, лишь бы обеспечить ей легенду. Но как они узнали, где искать рукописи?

— Рукописи были не в Берлине. Они лежали, аккуратно сложенные, в Москве, — сказал Уиртанен.

— Как они там оказались? — изумился я.

— Фигурировали в качестве основных вещественных доказательств на процессе Степана Бодоскова, — объяснил Уиртанен.

— Кого-кого?

— Ефрейтор Степан Бодосков служил переводчиком в русских частях, первыми вошедшими в Берлин, — продолжал Уиртанен. — Он нашел сундук с вашими рукописями на чердаке театра. И взял его в качестве трофея.

— Тот еще трофей, — хмыкнул я.

— Исключительно ценный, как выяснилось, — возразил Уиртанен. — Бодосков свободно владел немецким. Покопавшись в сундуке, он понял, что в нем лежит быстрая и блистательная карьера.

Начал он скромно — перевел несколько ваших стихов и послал в литературный журнал. Стихи были напечатаны и удостоились похвалы.

А затем Бодосков взялся за пьесу.

— Какую? — спросил я.

— «Чашу», — сказал Уиртанен. — Стоило Бодоскову перевести ее, как он тут же оказался владельцем дачи на Черном море, не успели еще с Кремля затемнение снять.

— Пьесу поставили? — спросил я.

— Поставили! До сих пор ставят по всему Союзу — и любители, и

профессионалы. «Чаша» стала «Теткой Чарлея» современного русского театра. Вы, оказывается, вовсе не такой уж покойник, как полагали, Кэмпбелл.

— Но дело его живет, — буркнул я.

— Простите?

— Я уже и сюжета «Чаши» не помню, — сказал я.

Уиртанен пересказал мне сюжет:

— Ослепительная в чистоте своей дева хранит Чашу святого Грааля. Отдаст она ее лишь рыцарю, столь же целомудренному, как она сама. И вот приходит рыцарь, достаточно целомудренный, чтобы получить Грааль.

— Вместе с Граалем ему достается и любовь девы, которой он отвечает взаимностью. Нужно ли вам, автору, рассказывать дальше? — спросил Уиртанен.

— Прямо... Прямо, будто Бодосков действительно написал пьесу сам, — пожал я плечами, — будто я впервые слышу сюжет.

— Но тут герой и героиня, — продолжал Уиртанен, — начали вызывать друг у друга греховные мысли, что невольно делало их недостойными Грааля. И героиня призывает героя бежать с Граалем, пока он не стал совсем недостойным его. Герой же клянется бежать без Грааля, дабы не мешать героине оставаться достойной чести охранять Чашу.

Герой решает за обоих, поскольку оба погрязли в греховных мыслях. Святой Грааль исчезает. Ошеломленные столь неоспоримым доказательством свершенного греха, влюбленные завершают то, что искренне считают своим падением, нежной ночью любви.

И, следующим утром, преисполненные уверенности в том, что их неминуемо ждет адский огонь, клянутся дать друг другу столько счастья в жизни, что все пламя ада покажется незначительной за него ценой. И тут к ним возвращается святой Грааль, как знак того, что любовь, подобная их любви, отнюдь не противна Небу. Затем Грааль исчезает снова и навеки, оставив героев жить вместе и счастливо до конца их дней.

— Господи, да неужто это я написал? — вырвалось у меня.

— Сталин по этой пьесе с ума сходил, — вздохнул Уиртанен.

— А остальные пьесы?

— Все поставлены и прекрасно приняты, — сказал Уиртанен.

— Но самой большой сенсацией Бодоскова осталась «Чаша»?

— Нет, истинную сенсацию произвела написанная им книга.

— Бодосков написал книгу?

— Вы, а не Бодосков.

— Да не писал я никаких книг!

— А «Записки Казановы-однолюба»?

— Но она же непечатная! — изумился я.

— Вот удивились бы, услышав это, в одном будапештском издательстве, — усмехнулся Уиртанен. — По-моему, они отпечатали чуть ли не полумиллионный тираж.

— И коммунисты позволили открыто издать нечто подобное?

— «Записки Казановы-однолюба» явились занятным эпизодом в русской истории, — развел руками Уиртанен. — В России вряд ли возможно получить официальное разрешение на издание чего-либо подобного. И в то же время книга оказалась столь привлекательной, столь странно сочетала мораль и порнографию, столь отвечала потребностям страны, страдающей нехваткой всего, кроме мужчин и женщин, что чей-то благосклонный кивок позволил запустить типографские машины в Будапеште, забыв почему-то потом остановить их. — Уиртанен подмигнул мне. — Провести контрабандой экземплярик «Записок Казановы-однолюба» составляет одну из немногих лукавых, игривых, безобидных проделок, которые русский может себе позволить без особого риска. Да и для кого он старается, кому везет пикантный подарок? Своей старой верной подруге — жене.

— Много лет, — продолжал Уиртанен, — выходило лишь русское издание. Но теперь есть и венгерский перевод, и румынский, и латышский, и эстонский, и — самый важный — немецкий.

— И автором считается Бодосков?

— Общеизвестно, что написал ее Бодосков, хотя на титульном листе не значатся ни автор, ни издатель, ни художник — все делают вид, что авторство неизвестно.

— Художник? Какой еще художник? — мысль об иллюстрациях, изображающих нас с Хельгой, выделяющих всевозможные курбеты нагишом, привела меня в ужас.

— За издания с вкладкой из четырнадцати иллюстраций в натуральном цвете — сорок рублей сверху, — объяснил Уиртанен.

36: ВСЕ, КРОМЕ ВИЗГА...

— Если б только не иллюстрации! — гневно сказал я Уиртанену.

— А какая разница?

— Это калечит книгу! Рисунки не могут не изуродовать слов! Эти слова не предназначались для иллюстрирования! С рисунками — они уже совсем не те слова!

— Здесь, боюсь, мало что от вас зависит, — пожал плечами Уиртанен. — Ну, что вы можете сделать? Разве только войной на русских пойти?

Я до боли стиснул веки.

— Знаете, что говорят о разделке свиней на чикагских скотобойнях?

— Нет, — покачал головой Уиртанен.

— Они там хвастают, что пускают в дело все, кроме пороссячьего визга.

— Ну и что? — посмотрел на меня Уиртанен.

— Я себя сейчас чувствую свиньей на бойне. Разделанной свиньей, на каждую часть которой сыщется мастер. Боже мой! Да ведь они мой визг — и тот сумели пустить в дело! Ту часть моего «я», что стремилась сказать правду, обратили в отпетого лжеца! Мою любовь обратили в порнографию! Мой дар художника обратили в грязь, какую свет не видел! Самую святую мою память пустили на пищу для кошек, клей и ливерную колбасу!

— Память о ком? — спросил Уиртанен.

— О Хельге! Моей Хельге! — воскликнул я и зарыдал. — Рези убила память о ней, служа Советскому Союзу. Рези заставила меня осквернить эту память, и ей не стать больше прежней.

Я открыл глаза.

— К... матери это все, — сказал я тихо. — Наверное, и свиньям, и мне надлежит гордиться, что из нас сумели извлечь пользу. Одно меня радует...

— Что же? — спросил Уиртанен.

— То, что хоть кто-то сумел жить жизнью художника, благодаря созданному мною. Я рад за Бодоскова. Вы сказали, что его арестовали и судили?

— Приговорили к расстрелу.

— За плагиат?

— За оригинальность, — ответил Уиртанен. — Плагиат — это мелочь. Подумаешь, дело — еще раз написать, что уже было написано! Истинная оригинальность — вот тягчайшее преступление, нередко влекущее за собой жестокие и необычные наказания, прежде чем нанести прекращающий страдания удар.

— Не понимаю.

— Ваш друг, Крафт-Потапов, понял, что истинным автором произведений, которые Бодосков выдавал за свои, являетесь вы, — объяснил Уиртанен. — И доложил об этом в Москву. На даче Бодоскова был совершен обыск. Волшебный сундук с вашими рукописями обнаружили на сеновале над конюшней.

— И что же?

— Все, что вы схоронили в сундук, было напечатано до единого слова.

— И что с того?

— То, что Бодосков начал наполнять сундук собственной магией, — сказал Уиртанен. — При обыске обнаружили сатирический роман о Красной Армии объемом в две тысячи страниц, написанный в ярко выраженном небодосковском стиле. Вот за эту небодосковщину Бодоскова и расстреляли.

— Но хватит о прошлом! — сменил тему Уиртанен. — Послушайте лучше, что я хочу сказать относительно будущего. Через полчаса, — и он посмотрел на часы, — Джоунза будут брать. Дом уже окружен. Я хотел извлечь вас оттуда, потому что сложностей и так хватает.

— Куда же мне теперь?

— Домой не советую. Патриоты все разнесли вдребезги. И вас чего доброго разнесут, если застукают.

— Что будет с Рези?

— Ограничатся депортацией. Никаких преступлений она не совершила.

— А что ждет Крафта?

— Долгая отсидка в тюрьме. Ничего позорного здесь нет. Да я думаю, он и сам охотнее сядет в тюрьму, чем вернется домой.

— А преподобный Лайонел Дж. Д. Джоунз, доктор богословия и медицины, — добавил Уиртанен, — вернется за решетку за нелегальное хранение огнестрельного оружия и за любую другую откровенную уголовщину, которую только сумеем ему навесить. Отцу Кили мы ничего не готовим, так что, наверное, его снова ждут притоны. И Черный Фюрер останется без пристанища тоже.

— А Железная гвардия?

— Железным гвардейцам белых сынов американской конституции, — сказал Уиртанен, — сделают внушение о незаконности создания в нашей стране частных армий, убийств, мятежей, измены и насильственного свержения правительства. Затем их отправят по домам просвещать родителей, если это вообще хоть в какой-то степени возможно.

Уиртанен снова посмотрел на часы.

— Вам пора уходить — побыстрее покинуть окрестности.

— Можно спросить, кто ваш человек у Джоунза? Кто сунул мне записку в карман с инструкциями прийти сюда?

— Спросить можно, — улыбнулся Уиртанен, — но вы ведь и сами знаете, что я вам не скажу.

— Неужели вы мне настолько не доверяете?

— Как я могу доверять человеку, проявившему себя таким отменным агентом, — спросил Уиртанен. — А?

37: СТАРОЕ ЗЛАТОЕ ПРАВИЛО...

Я покинул Уиртанена.

Но, не пройдя и десяти шагов, понял, что меня как магнитом тянет обратно в подвал Джоунза, где остались любовница и лучший друг.

Хотя я и знал теперь их истинные лица, у меня все равно кроме них никого на целом свете не было.

Вернувшись тем же путем, каким ушел, я проскользнул в дверь черного хода.

Когда я вернулся, Рези, отец Кили и Черный Фюрер играли в карты. Моего отсутствия никто не заметил.

Железные гвардейцы белых сынов американской конституции проводили занятия по отдаванию почестей флагу. Занятиями руководил один из гвардейцев.

Джоунз поднялся наверх творить.

Крафт, русский обер-шпион, читал номер «Лайфа» с портретом Вернера фон Брауна на обложке, раскрыв его на развороте, изображавшем панораму болота в век рептилий.

Работал маленький приемничек. По нему объявили песню. Название песни отложилось у меня в памяти. Вовсе не потому, что у меня такая феноменальная память. Просто оно как нельзя лучше соответствовало ситуации. Впрочем, оно почти под любую ситуацию подойдет. Звучало оно так: «Старинное золотое правило».

По моей просьбе референты Института документации военных преступлений в Хайфе разыскали для меня весь текст этой песенки:

Ты разбиваешь сердце мне,
Всегда со мной наедине
Любить меня ты обещаешь
И вдруг с другими исчезаешь.
А я убит,
И я разбит.
Меня совсем не веселит,
Что ты опять меня оставила.
А ты смеешься
И ты лжешь,
Меня до слез ты доведешь,

Пора б тебе запомнить...
Старинное золотое правило.

— Во что играете? — спросил я картежников.

— В «Старую деву», — ответил отец Кили. Он очень серьезно относился к игре. Хотел выиграть. Заглянув ему в карты, я увидел, что «старая дева» — дама пик — у него на руках.

Скажи я сейчас, что в ту минуту я весь извелся зудом и нервным тиком и чуть не грохнулся в обморок от охватившего меня ощущения нереальности, я произвел бы, вероятно, более человеческое впечатление, то бишь вызвал бы больше сочувствия.

Увы.

Этим и не пахло.

Должен сознаться в своей жуткой ущербности. Все, что я вижу, слышу, осязаю, обоняю и пробую на вкус, я воспринимаю, как абсолютную реальность. Вот такая я доверчивая игрушка собственных чувств: ничто не кажется мне нереальным. И ничем мою непоколебимость не проймешь: ни тем, что меня били по голове, ни тем, что я напивался пьян, ни даже тем, что однажды мне случилось при весьма необычных обстоятельствах, к сему повествованию отношения не имевших, оказаться под воздействием кокаина.

Сейчас, в подвале Джоунза, Крафт показал мне портрет Брауна на обложке «Лайфа» и спросил, знал ли я его.

— Фон Брауна? — переспросил я. — Томаса Джефферсона космического века? Конечно. Барон как-то танцевал с моей женой в Гамбурге на дне рождения генерала Вальтера Дорнбергера.

— И хорошо танцевал? — поинтересовался Крафт!

— Как Мики Маус. Так танцевали все нацистские шишки, если уж приходилось.

— Интересно, узнал бы он тебя сейчас?

— Обязательно. Я наткнулся на него на Пятьдесят Второй улице примерно месяц назад, и он окликнул меня по имени. Просто ошеломлен был, увидев меня в столь жалком состоянии. Сказал, что у него полно контактов в сфере связей с общественностью, и предложил похлопотать насчет работы в этой области.

— У тебя бы это хорошо пошло, — согласился Крафт.

— Естественно — у меня же нет никаких убеждений, способных мешать клиенту лепить в глазах публики угодный ему образ.

Картежники сложили карты, оставив отца Кили, этого жалкого старого девственника, с его дамой пик на руках.

— Что ж, — вздохнул Кили с таким видом, будто за спиной у него лежало богатое победами прошлое, а впереди еще ждало блестящее будущее, — не все же побеждать.

И пополз с Черным Фюрером наверх, останавливаясь через каждые две-три ступеньки сосчитать до двадцати.

А мы с Рези и Крафтом-Потаповым остались одни.

Рези подошла ко мне, обняла, прильнула щекой к моей груди.

— Только представь, милый...

— Гм-м, — пробурчал я.

— Завтра мы уже будем в Мексике.

— Гм, — хмыкнул я.

— Ты чем-то обеспокоен?

— Я? Обеспокоен?

— Что-то тебя гложет.

— Как, по-твоему, гложет меня что-либо? — спросил я Крафта, снова углубившегося в иллюстрацию, изображающую болото.

— Да нет, не сказал бы.

— Все со мной, как обычно, — сказал я.

— Кто б подумал, что такое способно летать? — ткнул Крафт пальцем в изображение проносящегося над болотом птеродактиля.

— Кто б подумал, что такой занюханный старый пердун, как я, покорит сердце такой красавицы, да обретет такого одаренного и верного друга в придачу, — ответил я.

— Мне очень легко любить тебя, — вздохнула Рези. — Ведь я всегда тебя любила.

— Мне вот пришло в голову... — начал я.

— Поделись с нами, — попросила Рези.

— Может, Мексика — это не совсем то, что нам надо, — продолжал я.

— Всегда можно перебраться куда-нибудь еще, — вставил Крафт.

— Может... может, прямо в аэропорту Мехико-Сити... может, там пересесть на другой самолет... — продолжал я.

— И куда полететь? — Крафт закрыл журнал.

— Ну, не знаю, право. Куда-нибудь, только, чтоб очень быстро. Сама мысль о движении возбуждает меня — слишком я на месте засиделся.

— А, — буркнул Крафт.

— Да хоть в Москву.

— Что? — не поверил своим ушам Крафт.

— В Москву, — говорил я. — Я бы очень не прочь взглянуть на Москву.

— Оригинальная мысль, — сказал Крафт.

— Тебе не нравится?

— Ну, подумать надо.

Рези подалась от меня в сторону, но я крепко держал ее.

— И ты подумай, — сказал я ей.

— Если ты так хочешь, — еле выговорила она.

— Ей-богу, эта мысль мне все больше и больше начинает нравиться, — и я встряхнул Рези, чтобы расшевелить ее. — Мне бы в Мехико-Сити хватило и пары минут до пересадки на другой самолет.

— Ты шутишь? — Крафт поднялся на ноги, тщательно разминая пальцы рук.

— А как, по-твоему? Такой старый друг сам должен понимать, когда я шучу, а когда — нет.

— Шутишь, конечно. Что ты там в Москве потерял?

— Старого дружка, — ответил я.

— Вот не знал, что у тебя есть друзья в Москве.

— Может, он и не в Москве, но где-то в России, это уж точно. Надо бы навести справки.

— Как его зовут? — спросил Крафт.

— Степан Бодосков. Он писатель.

— Вот как. — Крафт снова сел и раскрыл журнал.

— Слышал о таком? — спросил я.

— Нет.

— А о полковнике Ионе Потапове не слышал?

Вырвавшись от меня, Рези забила в самый дальний угол.

— А ты знаешь Потапова? — посмотрел я на нее.

— Нет.

— И ты не знаешь? — переспросил я Крафта.

— Нет. Объясни, кто это.

— Агент коммунистов. Пытается выманить меня в Мексику, чтобы меня там похитили и увезли для суда в Москву.

— Нет! — вырвалось у Рези.

— Заткнись, — бросил ей Крафт. Отшвырнув журнал, он вскочил и потянулся за пистолетом, лежавшим у него в кармане, но я уже взял его на мушку своего «люгера».

И заставил бросить оружие на пол.

— Вы только посмотрите... — изумленно сказал он, будто был здесь

вовсе не при чем, — просто индейцы и ковбои какие-то.

— Говард... — начала Рези.

— Ни слова больше, — предостерег ее Крафт.

— Милый! — в голосе Рези звучали слезы. — Ведь я действительно верила в нашу мечту о Мексике. Мы же все собирались бежать! — она всплеснула руками. — Завтра, — прошептала она.

— Завтра, — прошептала она снова.

И затем ринулась на Крафта, будто пытаясь запустить в него когти. Но в руках у нее не было силы. Они лишь бессильно вцепились в плечи Крафта.

— Мы же все собирались заново родиться, — убито сказала Рези. — И вы тоже. Вы тоже! Разве вы не мечтали об этом? Как же можно было так тепло говорить о нашей новой жизни и не хотеть ее?

Крафт не отвечал.

— Да, я — агент коммунистов, — обернулась ко мне Рези. — И он тоже. Он действительно полковник Иона Потапов. И у нас действительно было задание заманить тебя в Москву. Но я вовсе не собиралась выполнять задание, потому что я люблю тебя, потому что не знала в жизни иной любви, кроме той, что мне подарил ты, и не буду знать.

— Ведь я сказала вам, что задания выполнять не буду, сказала, да? — обратилась она к Крафту.

— Да, — подтвердил Крафт.

— И он согласился со мной, — продолжала Рези. — И придумал эту мечту о Мексике, где мы все сумеем вырваться из капкана и счастливо прожить до конца наших дней.

— Как ты узнал обо всем? — спросил Крафт.

— Американская контрразведка следила за каждым вашим шагом, — ответил я. — Дом окружен. Вы спеклись.

38: О, СЛАДОСТЬ ТАЙНЫ БЫТИЯ...

Об операции...

О Рези Нот...

О том, как она умерла...

О том, как она умерла у меня на руках в подвале дома преподобного Лайонела Дж. Д. Джоунза, доктора богословия и медицины.

Все произошло совершенно неожиданно.

Рези казалась такой предрасположенной к жизни, такой для жизни созданной, что мне и в голову не приходило, что она может предпочесть смерть.

Я оказался в достаточной степени искушенным человеком, либо человеком, в достаточной степени лишенным воображения — это уж решайте сами, — чтобы решить: столь молодую, красивую и умную женщину все происходящее лишь позабавит, куда бы судьба и политика не забросила ее потом. К тому же худшее, что ей грозило, была депортация, и я объяснил ей это.

— И больше ничего? — уточнила она.

— Больше ничего. Вряд ли даже за обратный билет придется платить.

— И тебе не жаль расставаться со мной?

— Жаль, конечно, — ответил я, — но что ж поделаешь. Сюда вот-вот ворвутся арестовать тебя. Не драться же мне с ними.

— Ты не будешь за меня драться?

— Разумеется нет. Разве я с ними справлюсь?

— Это имеет значение? — посмотрела на меня Рези.

— В смысле — я должен умереть за любовь, подобно рыцарю в пьесе Говарда Кэмпбелла-младшего?

— Вот именно. Давай умрем вместе, прямо сейчас!

— Рези, милочка, — расхохотался я. — Да у тебя вся жизнь впереди.

— Вся моя жизнь была — несколько волшебных часов с тобой, — вздохнула Рези.

— Я мог бы сочинить такую реплику для пьесы, когда был молодым.

— Это и есть реплика из пьесы, которую ты написал молодым.

— Глупый я был юнец.

— Я обожаю этого глупого юнца.

— Когда ты влюбилась в него? В детстве?

— В детстве. А потом — уже став взрослой. Когда мне давали твои

рукописи и велели изучить их — вот тогда.

— Извини, не могу тебя поздравить с хорошим литературным вкусом.

— Ты не веришь больше, что жить стоит лишь ради любви?

— Нет, не верю, — ответил я.

— Так скажи мне, ради чего же тогда стоит жить, — взмолилась Рези. — Пусть не ради любви. Ради чего угодно! — Она обвела рукой убогую подвальную комнатенку, и в жесте ее выплеснулось мое собственное восприятие мира, как барахолки. — Я готова жить ради этого стула, ради этой картины, этой трубы, этой кушетки, этой трещины в стене! Только скажи мне, что ради них стоит жить, и я буду ради них жить! — рыдала Рези.

Обессилившие ее руки легли на мои плечи. Она плакала, закрыв глаза.

— Пусть не любовь, — прошептала Рези. — Пусть что угодно. Только скажи.

— Рези... — мягко позвал я.

— Скажи! — и руки ее, вдруг снова налившись силой, сжали мне пиджак.

— Я уже старик... — беспомощно выдавил я. Это была трусливая ложь. Никакой я не старик.

— Что ж, старик. Скажи мне, ради чего стоит жить, чтобы и я могла ради этого жить, здесь — или за десять тысяч километров отсюда. Скажи мне, ради чего собираешься дальше жить ты, чтобы и мне тоже захотелось жить дальше!

В этот момент в дом ворвались.

Стражи закона лезли во все двери, размахивая оружием, заливаясь свистками и ослепляя всех светом ярких фонарей, хотя и так было достаточно светло.

Их набралось целое полчище, и они зашумели при виде мелодраматично злобной символики, украшавшей подвал. Так шумят при виде рождественской елки дети.

— Это лишь доказывает мою правоту.

— Чем же?

— Тем, что евреи пролезли повсюду, — отвечал Джоунз с улыбкой логика, доказательств которого не опровергнуть никому.

— Вы — против негров и католиков, — продолжал сотрудник, — но самые близкие ваши друзья — негр и католик.

— Что ж здесь странного? — удивился Джоунз.

— Но разве вы не ненавидите их?

— Разумеется, нет. Ибо мы верим в одно и то же.

— Во что?

— В то, что славная в прошлом наша страна попала в не те руки, — заявил Джоунз, на что отец Кили и Черный Фюрер согласно кивнули. — И чтобы вернуть ее на путь истинный, — продолжал Джоунз, — надо снести немало голов.

Никогда мне не доводилось видеть более наглядной демонстрации тоталитарного образа мышления в действии. Образа мышления, который можно уподобить системе шестеренок со спиленными наобум зубьями. Такая разлаженная машина, приводимая в действие заурядным, а то и угасающим либидо, дергается рывками, шумно, гулко и бессмысленно, словно какие-то адовы часы с кукушкой.

Старший фэбээровец ошибочно заключил, что зубы шестеренок в мозгу Джоунза стерлись совсем.

— Вы напрочь выжили из ума, — сказал он.

Но Джоунз вовсе не выжил напрочь из ума. Весь ужас ума классического тоталитарного склада в том и заключается, что механизм его, хотя и деформированный, сохраняет по своей периферии целые кусты шестеренок с зубьями, мастерски выточенными и сохраняемыми в безупречной форме.

Вот и получают адовы часы с кукушкой: безупречно отсчитывают восемь минут двадцать три секунды, а затем скакнут на четырнадцать минут вперед. Безупречно идут два часа одну секунду, а затем скакнут на целый год.

Зубчики же, которых в шестеренках не хватает, и есть те очевидные простые истины, которые по большей части доступны и понятны даже десятилетним детям.

Своевольно и своенравно спиленные зубцы шестеренок, своевольное и своенравное искажение определенных очевидных единиц информации и сводят под одной крышей в относительной гармонии людей столь разнообразных, сколь Джоунз, отец Кили, вице-бундесфюрер Крапштауэр и Черный Фюрер.

И объясняют, как в моем тесте сочетались и безразличие к рабыням, и любовь к голубой вазе.

И как мог Рудольф Гесс, комендант Освенцима, перемежать гениальную музыку командами трупоносам по лагерному радио...

И неспособность нацистской Германии различать существенную разницу между цивилизацией и гидрофобией.

И лучшего объяснения сути легионов, целых наций безумцев, виденных мною в жизни, мне не найти. В попытке же моей изложить это

объяснение языком сугубо техническим сказывается, пожалуй, то, чьим сыном я был. Чей сын я есть. Ведь если вспомнить, хоть и вспоминаю я об этом нечасто, то, в конце концов, я все-таки сын инженера.

Поскольку больше меня похвалить некому, я похвалю себя сам — за то, что никогда не выламывал зубьев произвольно из шестеренок моего мыслительного механизма, какой уж он там ни есть. Видит Бог, у некоторых моих шестерней зубьев не хватает — одни так и не выросли с рождения, другие — стерлись на пробуксовках истории...

Но ни единого зубца своего мыслительного механизма я не спилил сознательно. Ни разу не говорил я себе: «Вот без этого факта я обойдусь».

Говард У. Кэмпбелл-младший воздает себе хвалу! Бьется еще в старикашке жизнь!

А там, где есть жизнь...

Там — жизнь.

Человек десять — все как на подбор молодые, розовощекие и брызжущие добродетелью — окружили нас с Рези и Крафта-Потапова, отобрали у меня пистолет и обыскали всех в поисках иного оружия, пока мы стояли, обмякнув, словно тряпичные куклы.

Сверху по лестнице спускалась еще одна группа фэбээровцев, конвоируя преподобного Лайонела Дж, Д. Джоунза, Черного Фюрера и отца Кили.

Посреди лестницы доктор Джоунз остановился и обернулся к своим гонителям.

— Я делал то, — величественно заявил он, — что должны были бы делать вы. Вот и вся моя вина.

— И что же мы должны были бы делать? — спросил сотрудник, явно руководивший операцией.

— Защищать Республику! — отвечивал доктор Джоунз. — Нас-то чего травить? Мы лишь стремились упрочить нашу страну! Объединяйтесь с нами, и мы вместе возьмемся за тех, кто пытается ослабить ее!

— И кто же это? — спросил сотрудник.

— Я еще должен вам объяснить? Неужели вы сами не знаете — на вашей-то работе? Евреи! Католики! Негры! Азиаты! Унитарiane! Иммигранты, не способные усвоить дух демократии, играющие на руку социалистам, коммунистам, анархистам, антихристам и евреям!

— К вашему сведению, — с видом холодного превосходства ответил сотрудник, — я — еврей.

39: РЕЗИ НОТ ОТКЛАНИВАЕТСЯ...

— Я жалею лишь об одном, — возвестил доктор Джоунз начальнику фэбээровцев с лестничных ступенек, — о том, что у меня нет еще одной жизни, чтобы отдать за свою страну и ее!

— Ничего, ничего, мы уж постараемся, чтобы вам нашлось еще о чем пожалеть, — заверил его фэбээровец.

Железные гвардейцы белых сынов американской конституции сгрудились в каминной. Некоторых охватила истерика. Паранойя, годами прививаемая им родителями, внезапно обрела зримые черты — вот они, гонения!

Один юнец, вцепившись в древко американского флага, размахивал им вовсю, колотя орлом на наконечнике древка о трубы отопления.

— Это — флаг вашей страны! — вопил он.

— Сами знаем, — отвечал старший фэбээровец. — Отнимите! — скомандовал он своим.

— Этот день войдет в историю! — заявил Джоунз.

— Все они входят в историю, — ответил старший и добавил: — Ладно. Где здесь человек, именующий себя «Джордж Крафт»?

Крафт поднял руку чуть ли не в бодром жесте.

— Тоже скажете, что это — флаг *вашей* страны? — скривил губы старший.

— Надо бы взглянуть поближе, — ответил Крафт.

— Ну и каково сознавать, что приходит конец столь долгой и славной карьеры? — продолжал старший.

— Любой карьере рано или поздно приходит конец, — пожал плечами Крафт, — я-то это давно понял.

— О вашей жизни, чего доброго, еще фильм снимут, — заметил старший.

— Возможно, — улыбнулся Крафт, — но задешево я авторского права не уступлю.

— Хотя на вашу роль лишь один-единственный актер и сгодится, — сказал старший, — но его вряд ли уломаешь.

— Это кто же? — поинтересовался Крафт.

— Чарли Чаплин. Кому же еще играть шпиона, непросыхавшего с 1941-го по 1948 год? Кому же еще по плечу сыграть русского резидента, создавшего агентурную сеть, почти целиком состоявшую из агентов

американской контрразведки?

Светская учтивость разом слетела с Крафта, мигом превратившегося в бледного сморщенного старичка.

— Врете! — выдохнул он.

— Спросите свое начальство, если мне не верите, — пожал плечами фэбээровец.

— Они знают?

— Догадались, наконец. Дома вас ждала пуля в затылок.

— Почему же вы спасли меня? — спросил Крафт.

— Можете считать — из сентиментальности.

Крафт призадумался. Тут-то самым замечательным образом и пришла ему на выручку шизофрения.

— Все это меня никоим образом не касается, — заметил Крафт, и светская учтивость вновь полностью овладела им.

— Почему? — удивился старший.

— Потому, что я — художник, — пытался объяснить Крафт. — И это в моей жизни — главное.

— Не забудьте прихватить палитру в тюрьму, — посоветовал старший и переключился на Рези. — А вы, разумеется, Рези Нот.

— Да.

— Приятно погостить у нас в стране?

— Что я должна ответить? — спросила Рези.

— Отвечайте, что хотите, — сказал старший. — Если есть жалобы, я передам их соответствующим инстанциям. Мы, видите ли, стремимся расширить поток туристов из Европы.

— Вы очень остроумно шутите, — без тени улыбки сказала Рези. — Жаль, что не могу шутить в ответ. Мне сейчас не до шуток.

— Очень жаль, — небрежно бросил старший.

— Ничего вам не жаль. Одной только мне жаль. Жаль, что мне не для чего жить. Ничего у меня нет, кроме любви к одному-единственному человеку, но меня этот человек не любит. Он настолько выдохся, что вообще не способен любить. Все, что от него осталось — любопытство, да глаза.

— Нет, я не могу отшутиться, — добавила Рези. — Зато могу показать вам нечто занятное.

Казалось, Рези лишь прикоснулась пальцем к губе. На самом деле она бросила в рот капсулку цианистого калия.

— Женщину, погибшую за любовь, — договорила она.

И в тот же миг хладным трупом рухнула в мои объятия.

40: ВНОВЬ СВОБОДА...

Меня арестовали вместе со всеми, кто находился в доме. Но через час отпустили, благодаря, надо думать, вмешательству моей Голубой Феи-Крестной. А держали меня в неозначенном служебном помещении внутри Эмпайр стейт билдинг.

Фэбээронец проводил меня на лифте вниз и вывел на тротуар, вернув в поток жизни. Я прошел по тротуару шагов пятьдесят и застыл.

Как вкопанный.

И не потому, что испытывал чувство вины. Я приучился никогда не чувствовать себя виноватым.

И не из-за ощущения чудовищной потери. Я приучил себя ничего не ценить.

И не от ужаса смерти... Я приучил себя воспринимать смерть, как друга.

И не из-за несправедливости, гневом разбивающей сердце. Я приучил себя к мысли, что в жизни справедливой награды и справедливого возмездия можно искать с таким же успехом, как алмазный венец в помойной яме.

И не от мысли, что я никем не любим. Я приучил себя обходиться без любви.

И не от мысли о жестокости Бога. Я приучил себя ожидать от Него чего угодно.

А оттого, что не было у меня ни малейшей причины идти хоть куда-нибудь. Ведь на протяжении столь долгих пустых и мертвых лет мною водило одно лишь любопытство.

А сейчас и оно иссякло.

Сколько я простоял так, как вкопанный, и сам не знаю. И если мне суждено было сойти с места, то побудительную к тому причину должен был дать некто другой.

Некто и дал.

Полицейский, некоторое время наблюдавший за мной, подошел ближе и спросил:

— Случилось что-нибудь?

— Нет, все в порядке, — ответил я.

— А то вы тут долго стоите.

— Знаю.

— Ждете кого?

— Нет.

— Так вы бы шли себе, а?

— Слушаюсь, — ответил я.

И пошел.

41: ХИМИКАЛИИ...

Я побрел от Эмпайр стейт билдинг в сторону Гринич-Вилидж. И прошел пешком весь путь до моего дома. До дома, который делил с Рези и Крафтом.

И всю дорогу курил, воображая себя при этом светлячком.

По пути попадалось множество других светлячков. Иногда веселой красной вспышкой первым сигналил им я, иногда — первыми сигналили мне они. А прибойный гул и полярное сияние сердца города оставались все дальше и дальше за спиной.

Час был поздний. Я уже стал различать сигнальчики собратьев-светлячков, застрывших в верхних этажах домов.

Где-то провыла сирена, плакальщица налогоплательщика.

Когда я добрался, наконец, до моего дома, в нем погасли все окна, кроме одного на третьем этаже — в квартире молодого доктора Авраама Эпштейна.

Он тоже был светлячок.

Он помигал огоньком мне. Я помигал ему.

Где-то взревел мотоцикл, будто взорвалось несколько хлопущек подряд.

Между мною и дверью подъезда прошествовала черная кошка.

— Ральф? — промурлыкала она.

Темень стояла и в подъезде. Я щелкнул выключателем, но плафон на потолке не среагировал. Я зажег спичку. Все почтовые ящики оказались взломанными.

В дрожащем свете спички и бесформенной окружающей тьме искореженные и погнутые дверцы почтовых ящиков смотрелись дверьми тюремных камер в некоем охваченном пожаром городе.

Зажженная мною спичка привлекла внимание патрульного полицейского, маявшегoся одиночеством юнца.

— Что вы здесь делаете? — спросил он.

— Живу я здесь. Это мой дом.

— Личность удостоверить можете?

Я кое-как удостоверил собственную личность, объяснив, что живу на чердаке.

— Из-за вас, стало быть, весь сыр-бор, — сказал полицейский. Не в укор, просто ему стало интересно.

— Можете считать и так.

— Странно, что вы сюда вернулись.

— Я уйду, — кивнул я в ответ.

— Да нет, я вас не гоню, я и права не имею. Просто удивился, и все.

— Я могу подняться к себе? — спросил я.

— Это ваш дом, — напомнил полицейский. — Никто не вправе не пускать вас в ваш дом.

— Спасибо.

— Не надо меня благодарить. У нас — свободная страна, и все имеют равное право на защиту, — любезно ответил полицейский, желая наставить меня в основах гражданских прав.

— Так и должно управлять страной, — согласился я.

— Не пойму, издеваетесь вы, что ли, но факт остается фактом.

— И не думал издеваться, — запротестовал я. — Честное слово, и в мыслях не было.

Полицейскому хватило даже такой простенькой клятвы верности.

— Мой отец погиб на Иво-Джиме^[10], — сказал он.

— Весьма сожалею, — пробормотал я.

— Надо думать, хорошие люди гибли с обеих сторон, — продолжал полицейский.

— Да, наверное.

— Думаете, опять будет?

— Что будет?

— Война.

— Да.

— И я. Вот черт!

— Это вы верно сказали.

— Что может один человек?

— Каждый что-нибудь делает понемножку, — сказал я. — И вот вам пожалуйста.

— Все сходится одно к одному, — тяжело вздохнул он. — Люди просто не понимают, — И покачал головой. — Как же им быть?

— Повиноваться законам, — сказал я.

— Да добрая половина и этого не хочет. Чего только не наслушаешься, чего только не насмотришься! Временами прямо руки опускаются.

— Временами это со всеми бывает, — сказал я.

— По-моему, тут отчасти дело в химии, — заметил полицейский.

— Где «тут»? — не понял я.

— В упадке духа, — объяснил он. — Вроде, ученые докопались, что во многом хандру вызывают разные химические вещества.

— Ну, не знаю, — усомнился я.

— Нет, я читал, — стоял на своем полицейский. — Ученые сейчас над этим работают.

— Надо же, как интересно.

— Можно человеку ввести определенные химикалии, и он чокнется, — продолжал полицейский. — И над этим работают тоже. Кто его знает, может, в химикалиях-то и все дело.

— Не исключено.

— Может, в разных странах люди в разные времена оттого и ведут себя по-разному, что разные химикалии потребляют, — предположил он.

— Мне как-то в голову не приходило над этим задуматься, — сознался я.

— А то с чего бы людям изменяться так сильно? — спросил полицейский. — Вот брат мой бывал в Японии, говорит — симпатичней людей не видел, а ведь отца-то нашего японец убил! Подумать только.

— Н-да, — сказал я.

— Не иначе, как в химикалиях дело, а то в чем же еще?

— Понимаю, о чем вы, — кивнул я.

— Вы поразмыслите об этом как следует.

— Поразмыслю, — пообещал я.

— Я всю дорогу о химикалиях думаю, — сказал полицейский. — Надо бы, пожалуй, вернуться к учебе и изучить все, что уже известно о химикалиях.

— Да, надо бы, пожалуй, — согласился я.

— Может быть, как разберутся с химикалиями, — продолжал он, — так обойдутся и без полицейских, и без войн, и без сумасшедших домов. И не станет ни разводов, ни алкашей, ни малолетних преступников, ни падших женщин, и всего такого.

— Было б здорово, это уж точно, — согласился я.

— Все это возможно, — сказал полицейский.

— Я вам верю, — сказал я.

— Теперь так научились, что все могут сделать. Еси только возьмутся — денег достанут, подберут самых толковых специалистов и навалятся как следует. Ускоренным темпом.

— Я — за, — вставил я.

— Вот взять женщин, у которых раз в месяц сдвиг по фазе, — сказал полицейский. — Это у них просто избыток каких-то химикалиев

появляется, а вовсе не блажь какая нападает. Иногда бывает после родов какие-то химикалии разыграют, и роженица убивает свое дитя. Как на прошлой неделе в четырех домах отсюда.

— Вот ужас-то, — сказал я. — А я и не знал...

— Самое невероятное — чтоб женщина убила собственное дитя, да вот, убила же. Это все определенные химикалии у нее в крови — даже если она сама и не собиралась, и не хотела.

— Гм, — промычал я.

— Иной раз задумаешься, что с этим миром не так, — сказал он. — И вот вроде нащупывается здесь ключ к отгадке.

42: НИ ГОЛУБЯ, НИ ЗАВЕТА...

Я поднялся на свой крысиный чердак, поднялся по извилистой, как завиток панцыря улитки, лестнице из дубовых панелей и штукатурки.

Раньше воздух, застаивавшийся в лестничной клетке, был полон меланхолической тяжести, угольной штыбы, запахов стряпни и уборной. Сейчас же на лестнице было холодно и не пахло ничем. Окна у меня на чердаке были разбиты. Все теплые газы выносились по лестнице в мои окна, словно сквозь гулкую вытяжную трубу.

Воздух был чист.

Ощущение внезапно взломанного затхлого старого здания, свежей струи, ворвавшейся в застоявшийся воздух и очистившей его, было мне знакомо. Оно не единожды приходило ко мне в Берлине. Дважды бомбы попадали в дома, где жили мы с Хельгой. Оба раза оставалась лестничная клетка, по которой можно было подняться наверх.

В первый раз лестница привела нас в нашу квартиру, в которой выбило окна и сорвало крышу, чудом оставив в целости и сохранности все остальное. Во второй раз мы поднялись по лестнице вздохнуть чистого разреженного воздуха двумя этажами ниже нашей бывшей квартиры.

Оба эти мгновения на верхних площадках лестничных клеток разбомбленных домов оказались бесподобными.

Но не более чем мгновения, ибо мы, естественно, как и любая другая семья, любили свое гнездышко и нуждались в нем. И тем не менее на какую-то долю секунды мы с Хельгой ощущали себя Ноем и его женой на вершине горы Арарат.

Лучшего чувства я не ведаю.

А затем снова завывали сирены воздушной тревоги, а мы снова осознали себя простыми смертными, без голубя и без завета; снова вспомнили, что потоп не то что не кончился, но еще лишь только начинался.

Один раз, помню, мы с Хельгой спустились с расщепленной лестницы, уходившей в пустое небо, прямо в бомбоубежище, вырытое глубоко под землей, а землю вокруг охаживали тяжелые фугаски. И охаживали так, что, казалось, вообще никогда больше не уйдут.

Убежище же попало длинное и узкое, словно вагон поезда, и битком набитое.

А на скамье напротив нас с Хельгой оказались мужчина с женщиной и тремя детьми. И женщина взмолилась, обращаясь к потолку, бомбам,

самолетам, небу и Всевышнему Господу над всем этим.

Начала она тихо, но ведь не к присутствующим обращалась.

— Ну, хорошо, — говорила она. — Вот, мы здесь. Здесь на месте. Мы слышим тебя там, наверху, слышим, как ты разгневан. — И вдруг голос ее неожиданно набрал силу. — Боже милостливый, до чего же ты гневен! — возопила она.

Муж ее, изможденного вида штатский с нашлапкой на глазу и значком Союза учителей-нацистов на лацкане, сказал ей что-то предостерегающе.

Жена не слышала его.

— Чего же ты хочешь от нас? — обращалась она к потолку и ко всему, что лежало над ним. — Скажи нам. Чего бы ты ни требовал — мы все выполним.

Бомба разорвалась совсем рядом, и струйка штукатурки, посыпавшейся с потолка, заставила женщину с воплем вскочить. Вместе с нею вскочил и ее муж.

— Сдаемся! Мы сдаемся! — вопила она, и улыбка неимоверного облегчения и счастья расплылась по ее лицу. — Все, можешь прекратить! — вопила она и заливалась смехом. — Все кончено, мы больше не воюем! — И она обернулась к детям сообщить им радостную весть.

Муж вырубил ее одним ударом.

Этот одноглазый учитель усадил жену на скамью, прислонил к стене. А затем подошел к старшему по чину среди присутствующих, которому случилось быть вице-адмиралом.

— Женщина ведь... У нее просто истерика... С женщинами бывает... Она ведь вовсе не то хотела сказать... Удостоена золотого Ордена материнства... — бормотал он вице-адмиралу.

Вице-адмирал и глазом не моргнул. И ничуть не ощутил себя в неподобающей роли. В манере, преисполненной достоинства, он отпустил бедняге грехи.

— Ничего, — сказал он. — Бывает. Не переживайте.

Система, способная прощать подобные проявления слабости, вызвала у учителя восхищение.

— Хайль Гитлер! — поклонился он, отступая назад.

— Хайль Гитлер! — ответил вице-адмирал.

Затем учитель начал приводить в чувство жену, стремясь сообщить ей радостную весть: она прощена, все проявили понимание.

А бомбы тем временем все охаживали землю, а трое детей учителя и бровью не повели.

И не поведут никогда, пришло мне на ум.
И я не поведу — пришло мне на ум.
Больше никогда.

43: СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ И ДРАКОН...

Дверь на мой крысиный чердак сорвали с петель, и она канула куда-то без следа. Дворник завесил дверной проем моей плащ-палаткой, прибив ее крест-накрест досками. А на досках написал золотой краской для батарей, отсвечивающей в огне моей спички: «Внутри — никого и ничего нет».

Тем не менее кто-то отодрал нижний угол полотнища, образовав тем самым небольшой треугольный лаз на чердак, похожий на полог вигвама.

Я пролез в него.

Выключатель не сработал. Единственным источником света остались несколько невысаженных оконных стекол. Разбитые окна были заткнуты бумагой, тряпками, одеждой, постельным бельем. В щелях свистали ночные ветры. Свет, попадавший в мой чердак, казался синим.

Я подошел к заднему окну за печкой, выглянул посмотреть на чудо, очерченное границами частного скверика, маленький Эдем, образованный смыкающимися задворками. Сейчас там никто не играл.

Некому там было крикнуть то, что мне так бы хотелось услышать в ту минуту: «Три-три, нет игры, ты свободен — выходи».

В сумраке чердака кто-то пошевелился, послышался шорох. Крыса, подумал я.

Я ошибся.

Это был Бернارد О'Хэа, человек, вечность назад арестовавший меня. Это зашевелилась моя суженая Фурия, принявшая образ человека, видевшего лучшее в себе в стремлении ненавидеть и преследовать меня.

Я никоим образом не хочу возводить на него хулу, уподобляя звук его движений звуку движения крысы. Я отнюдь не воспринимаю О'Хэа крысой, хотя его поведение по отношению ко мне казалось столь же докучливым, но меня не касающимся, сколь копошение крыс за стенами моего чердака. То, что он арестовал меня в Германии, ровным счетом ничего не значило. И не делало его моей Немезидой. Моя песенка была спета задолго до того, как О'Хэа посадил меня под замок. И для меня он был не более чем один из тех, кто собирает по следам войны развеянный ветрами мусор.

Самому О'Хэа, однако, картина наших отношений рисовалась в куда более волнующем свете. Себя, особенно когда под банкой, он мнил Святым Георгием, а меня — Драконом.

Когда я разглядел его в сумерках моего чердака, он сидел на

перевернутом оцинкованном ведре. Он был одет в форму Американского легиона. И имел при себе кварту виски. Видно, давно меня поджидал, пил и курил. Он был пьян, но форма была в полном порядке, галстук как по ниточке и пилотка строго под положенным углом. Форма играла для него существенную роль и предназначалась играть такую же роль и для меня.

— Узнаешь? — спросил он.

— Узнаю.

— Годков мне прибавилось, — сказал он, — но не так уж я и изменился, а?

— Нет, — ответил я. Ранее я описал его похожим на поджарого молодого волка. Сейчас, на чердаке, он выглядел нездоровым — бледным, издерганным, с воспаленными глазами. Не так волк, как койот, подумал я. После войны он явно не процветал.

— Ждал меня? — спросил он.

— Ты предупредил, что можешь объявиться.

Мне приходилось держаться с ним осторожно и вежливо. Я предполагал, и предполагал верно, что он явился ко мне с недобрыми намерениями. А раз он такой наутюженный, хотя меня много меньше и легче, то, наверное, вооружен. По всей вероятности — пистолетом.

О'Хэа поднялся на ноги, и по тому, как его шатало, я понял, насколько он пьян. Поднимаясь, он сшиб ведро.

И усмехнулся.

— Я тебе часто являюсь в кошмарах, а, Кэмпбелл?

— Часто, — ответил я. Солгав, разумеется.

— Удивлен, что я никого с собой не привел?

— Удивлен.

— Многие со мной просились, — объяснил он. — Из Бостона делая компания хотела прилететь. И сегодня, как я до Нью-Йорка добрался, зашел в бар, разговорился там с незнакомыми людьми, так они тоже за мной увязались.

— Гм, — хмыкнул я.

— Но я им знаешь, что сказал?

— Нет, — ответил я.

— Я им сказал: «Извините, значит, парни, но это — вечеринка только для нас с Кэмпбеллом». Так вот и будет — только мы с тобой вдвоем, лицом к лицу.

— Ага, — буркнул я.

— Тут дело давнее, я им говорю, годами копилось, — продолжал О'Хэа. — Это у нас судьба такая, чтоб с Кэмпбеллом встреться после

стоких лет... Ты что, не согласен? — спросил он меня.

— С чем?

— С тем, что судьба. Вот так сойтись здесь, в этой комнате, и чтоб ни один из нас не увильнул, даже если б захотел.

— Возможно, — пожал я плечами.

— Как только решишь уж, что в жизни — ну, никакого смысла, — сказал он, — как — раз, и вдруг просек, что ты в аккурат для чего-то предназначен.

— Понимаю, о чем ты.

О'Хэа качнуло, но он удержался на ногах.

— Знаешь, чем я на прожитие зарабатываю?

— Нет.

— Диспетчер я. У меня грузовики мороженое возют.

— Что-что? — переспросил я.

— Грузовиков цельная армия. Ездют по предприятиям, пляжам, стадионам — всюду, где толпится народ. — О'Хэа, казалось, напрочь забыл обо мне на секунду-другую, смутно вспоминая миссию руководимых им грузовиков. — Машины для мороженого прямо на грузовике, — пробормотал он. — И всего два сорта: ванильное и шоколадное. — Голос его звучал точно так же, как у бедняжки Рези, рассказывающей мне о чудовищной бессмысленности ее работы за сигаретным автоматом в Дрездене.

— Как началась война, — сказал мне О'Хэа, — я думал, мне лучше обломится через пятнадцать лет, чем должность диспетчера по отгрузке мороженого.

— Надо думать, всем нам случается разочаровываться, — сказал я.

На эту вялую попытку протянуть руку братства О'Хэа не среагировал. Его беспокоила лишь своя печаль.

— Врачом хотел стать, — бурчал он. — В юристы думал податься, в писатели, архитекторы, инженеры, газетчики. Чего бы я только не достиг!

— Но тут женился, — продолжал он, — и жена пошла детей строгать, так мы с корешом завели дело по поставке пеленок, а, кореш возьми и сделай ноги с башлями, а эта знай себе все рожает. Ну, с пеленок я переключился на жалюзи, а как жалюзи накрылись, вышло мороженое. А жена все рожала, и машина все ломалась, мать ее так, и кредиторы заели, а весной и осенью термиты весь пол прогрызают.

— Сочувствую, — сказал я.

— Вот я и спросил себя, — продолжал О'Хэа, — какого ж рожна? Чего я не вписываюсь? В чем смысл-то?

— Хорошие вопросы, — мягко сказал я, передвигаясь поближе к тяжеленным каминным щипцам.

— И тут кто-то возьми и пришли мне газету со статьей, что ты еще жив. — И я увидел воочию злобную радость, охватившую его в тот момент. — Тут-то до меня и дошло, в чем смысл. Зачем я живу и в чем мое предназначение.

Выпятив глаза, О'Хэа шагнул ко мне.

— Вот он я, Кэмпбелл, прямиком из прошлого!

— Здравствуйте, — поклонился я.

— Ты понимаешь, что для меня значишь, Кэмпбелл?

— Нет.

— Ты — зло в чистом виде. Просто в чистом виде зло.

— Спасибо, — ответил я.

— Твоя правда — это вроде даже комплимент, — согласился О'Хэа. — Обычно и в плохом человеке есть что-то хорошее — почти столько же, сколько плохого. Но ты, — продолжал он, — ты — сплошное зло. Добра в тебе не больше, чем в дьяволе.

— Может, я и есть дьявол, — сказал я.

— Думаешь, мне такое на ум не приходило?

— Что ты собираешься со мной сделать? — спросил я.

— Кишки из тебя выпущу, — ответил он, покачиваясь с носок на пятки, поводя плечами, расслабляя их. — Как услышал, что ты жив, сразу смекнул, в чем мой долг. Нет, по-другому не выйдет. Все именно так и должно было кончиться.

— Не понимаю, почему, — сказал я.

— Ну так поймешь, ей-богу, поймешь, как миленький. Заставлю тебя понять. Ей-богу, я для того и на свет народился, чтоб кишки из тебя выпустить, прямо на месте.

О'Хэа обозвал меня трусом. Обозвал меня нацистом. А затем обозвал самым оскорбительным словом в английском языке.

Тут я и перебил ему здоровую правую руку каминными щипцами.

Это был единственный акт насилия, совершенный мною на протяжении всей своей столь долгой жизни. Я сошелся с О'Хэа в единоборстве и одолел его. Одолеть его было нетрудно. О'Хэа был так опьянен спиртным и бредовыми видениями торжества добра над злом, что и не ожидал от меня никаких потуг к защите.

Осознав же, что пропустил удар, что Дракон намерен задать Святому Георгию серьезную взбучку, он пришел в изумление.

— Вот, значит, ты как решил играть, — пробормотал он.

И тут мучительная боль множественного перелома пронзила, наконец, нервную систему, и на глаза его навернулись слезы.

— Пошел вон, — приказал я. — Если не хочешь, чтобы я перебил тебе вторую руку и не пробил голову. — Прижав кончики щипцов к его правому виску, я сказал: — Оружие — нож или пистолет, что там у тебя — я отберу.

О'Хэа лишь мотал головой, не в силах говорить от страшной боли.

— У тебя нет оружия?

Он снова помотал головой.

— Честно драться, — еле выговорил он. — Честно...

Я ощупал его карманы. Оружия не было. Святой Георгий собирался выпустить из Дракона кишки голыми руками!

— Несчастный ты полоумный кирной однорукий сукин сын, — сказал я ему. И, сорвав брезент с дверного проема, вышиб набитую на него крестовину. А затем пинком вышиб О'Хэа на лестницу. Тот повис на перилах, взгляд его приковала манящая бездонная спираль лестничного пролета, обещающая верную смерть внизу.

— Я ни твоя судьба, ни дьявола, — сказал я ему. — Ты только взгляни на себя! Приперся покарать Зло голыми руками, а теперь уходишь восвояси, стяжав славы не более, чем пешеход, попавший под автобус. И поделом. Человек, ополчившийся на зло в чистом виде, иной славы и не заслуживает.

— Всегда хватает весомых причин сражаться, — продолжал я, — но нет ни одной, чтобы без удержу ненавидеть, вообразив, будто твою ненависть разделяет Всевышний. В чем зло? В той огромной доле каждой души, что жаждет беспредельно ненавидеть, ненавидеть, залучив на свою сторону Господа. Этой своей стороной человек и липнет ко всякой мерзости.

— Это та сторона личности безумца, — сказал я, — что карает, поносит и радостно затевает войны.

То ли слова мои на него так подействовали, то ли спиртное, то ли унижение, то ли боль от сломанных костей — не знаю, но О'Хэа стошнило. И как! С четвертого этажа блеванул прямо на пол вестибюля.

— Поди вытри, — приказал я.

О'Хэа повернулся ко мне, глаза по-прежнему горели неукротимой ненавистью.

— Я тебя еще достану, братец, — прошипел он.

— Все может быть, — пожал я плечами. — Но твоего удела банкротств, мороженого, оравы детей, термитов и безденежья это все равно

не изменит. Уж если тебе так не удастся служить в Христовом Воинстве, попробуй Армию Спасения.

И О'Хэа ушел.

44: «КАМ-БУУ...»

Заклученным свойственно просыпаться и думать о том, что привело их в тюрьму. Для себя я на подобный случай вывел заключение, что меня в тюрьму привела неспособность пройти или перепрыгнуть через чужую блевотину. Я имею в виду блевотину Бернарда О'Хэа на полу подъезда у подножия лестницы.

Вскоре вслед за О'Хэа покинул чердак и я. Меня там ничто не удерживало. Совершенно случайно я прихватил с собой сувенир на память. Уже уходя, я случайно поддал ногой какую-то вещицу, и она вылетела за порог на лестницу. Я подобрал ее. Оказалось — пешка из комплекта шахмат, что я вырезал из ручки метлы.

Я положил пешку в карман. Она и по сей день при мне. И, когда я клал ее в карман, в нос мне ударил запах безобразия, учиненного О'Хэа в общественном месте.

Спускаясь по лестнице, я все сильнее ощущал эту вонь.

Вонь остановила меня на площадке у двери молодого доктора Авраама Эпштейна, человека, детство которого прошло в Освенциме.

Я и подумать не успел, как уже стучал ему в дверь.

Доктор открыл в купальном халате, пижаме и босиком. И удивился, увидев меня.

— Да? — спросил он.

— Вы не позволите мне войти? — попросил я.

— Вам нужна медицинская помощь? — дверь он держал на цепочке.

— Нет, — ответил я. — Дело характера сугубо лично-политического.

— Подождать с ним нельзя?

— Мне бы не хотелось.

— Объясните в двух словах, в чем суть.

— Я хочу предстать перед израильским судом.

— Чего-чего вы хотите? — переспросил доктор.

— Я хочу, чтобы меня судили за мои преступления против человечности, — объяснил я. — И готов ехать в Израиль.

— А при чем здесь я?

— Я думал, вы можете знать кого-то, кого это заинтересует.

— Я не представитель Израйля, — ответил доктор. — Я — американец. Завтра найдете сколько угодно израильтян.

— Я бы хотел сдать человека из Освенцима.

Мои слова привели доктора и ярость.

— Так найдите кого-нибудь, у кого Освенцим из ума нейдет! Их, таких, полно, кто больше ни о чем не думает. А я это все выкинул из головы. Напрочь!

И доктор захлопнул дверь.

Я снова застыл на месте, как вкопанный, обескураженный неудачей в том единственном, что я сумел надумать для себя. Да, конечно, Эпштейн абсолютно прав насчет того, что израильтян можно найти завтра утром.

Но ведь еще оставалось пережить целую ночь, а я не мог сдвинуться с места.

За дверью Эпштейн разговаривал с матерью. По-немецки.

До меня доносились лишь обрывки фраз. Эпштейн объяснял матери, зачем выходил на лестницу.

На меня произвело впечатление, как они выговаривают мою фамилию.

«Кам-буу», — то и дело повторяли они. Так у них звучала фамилия «Кэмпбелл».

Это и было сидевшее во мне безраздельное зло, зло, оказавшее воздействие на миллионы, гнусная тварь, которую добрым людям хотелось убить и закопать.

«Кам-буу».

Мать Эпштейна так завелась из-за Кам-буу и его намерений, что подошла к двери. Вряд ли она ожидала увидеть перед ней самого Кам-буу. Просто хотела дать выход отвращению и удивиться, как Кам-буу земля носит.

Она открыла дверь. За спиной ее маячил сын, убеждавший ее не открывать. Она чуть не лишилась чувств, увидев самого Кам-буу. Кам-буу остолбеневшего.

Отодвинув ее, Эпштейн угрожающе ринулся ко мне.

— Что вы тут себе позволяете? Убирайтесь отсюда ко всем чертям!

Я не сдвинулся с места. Не отвечал, глазом не моргнул. И, казалось, даже не дышал. И доктор начал понимать, что дело все-таки медицинское.

— О, Господи! — взвыл он жалобно.

Подобно послушному роботу, я дал завести себя в квартиру. Доктор провел меня на кухню, усадил на белый стол.

— Вы слышите меня? — спросил он.

— Да.

— Понимаете, кто я? Где вы находитесь?

— Да.

— Раньше с вами что-либо подобное случалось?

— Нет.

— Вам психиатр нужен. А я — не психиатр.

— Я сказал вам, что мне нужно, — возразил я. — Вызовите кого-нибудь. Не психиатра, а тех, кто хочет меня судить.

Эпштейн долго препирался со своей престарелой матерью насчет того, что со мной делать. Мать сразу распознала мою болезнь, сразу поняла, что не сам я болен, но болен мой мир.

— Тебе не впервой видеть такой взгляд, — по-немецки напомнила она сыну. — И не впервой вид человека, не способного сделать шаг, пока ему не скажут, куда шагать; человека, жаждущего получить приказ, что делать дальше, готового любой приказ выполнить. Тысячи таких ты видел в Освенциме.

— Я не помню, — голос Эпштейна звучал натянуто.

— Ну, и не помни, — ответила мать. — Тогда хоть *мне* не мешай помнить. Я-то все помню. Каждую минуту.

— Именно потому, что помню, — продолжала мать, — и говорю: пусть он получит то, что просит. Позвони кому-нибудь.

— Кому? — спросил Эпштейн. — Я не сионист. И даже не антиссионист. Мне это все вообще без разницы. Я — врач. И никого из тех, кто по сей день ищет мщения, не знаю. И ничего к ним, кроме презрения, не чувствую. Уходите. Вы не по тому адресу обратились.

— Позвони кому-нибудь, — сказала мать.

— Ты все еще жаждешь мести?

— Да.

Доктор заглянул мне прямо в глаза, чуть не касаясь моего лица своим.

— А вы действительно жаждете наказания?

— Суда я хочу.

— Позерство все это, — сказал доктор, отчаявшись от нас обоих. — И ничего не доказывает.

— Позвони, — сказала мать.

— Ну, хорошо, хорошо! — воздел руки к небу Эпштейн. — Я позвоню Сэму. Скажу, что ему выпал шанс стать великим израильским героем. Ему же всегда хотелось быть великим израильским героем!

Фамилию Сэма мне узнать не довелось. Доктор Эпштейн звонил ему из гостиной, оставив меня на кухне с матерью.

Мать сидела за столом напротив меня, положив руки на столешницу, и изучала мое лицо с удовлетворением и меланхоличным любопытством.

— Все лампочки повывертывали, — сказала она по-немецки.

— Что?

— Эти люди, которые разгромили вашу квартиру, они повывертывали все лампочки с лестницы.

Я что-то хмыкнул в ответ.

— И в Германии тоже, — сказала она.

— Простите?

— Это уж обязательно, когда СС или гестапо кого-то уводили.

— Не понимаю.

— Тогда в дом врывались люди, желающие совершить что-нибудь патриотическое, — объяснила она. — И уж это будьте уверены — лампочки с лестницы всегда кто-нибудь вывинчивал. — Она покачала головой. — А ведь странно, что всегда делали именно это.

В кухню вернулся доктор Эпштейн.

— Ну, все, — сказал он, — сейчас примчатся три героя: портной, часовщик и педиатр. Все трое в полном восторге, что можно поиграть в израильских парашютистов.

— Благодарю вас, — сказал я.

Трое явились за мной минут через двадцать. У них не было ни оружия, ни полномочий представителей Израиля или представителей кого-нибудь вообще, кроме самих себя. Единственными полномочиями их наделила моя позорная слава и горячее желание сдаться кому угодно, чуть ли ни кому угодно.

Арест мой свелся к тому, что остаток ночи я провел в койке на квартире портного — так уж вышло. А утром все трое, с моего позволения, передали меня официальным представителям Израиля.

Явившись за мной к доктору Эпштейну, троица громко забарабанила в дверь.

Услышав стук, я испытал прилив необычайного облегчения. Я почувствовал себя счастливым.

— Вам теперь лучше? — спросил меня Эпштейн, прежде чем открыть им.

— Да, спасибо, доктор, — ответил я.

— Вы не передумали? — спросил он.

— Нет.

— Он не может передумать, — сказала мать Эпштейна. И перегнувшись ко мне через кухонный стол, промурлыкала по-немецки несколько слов, будто строчку из песенки, запавшую в память со времен счастливого детства.

А промурлыкала она команду, по много раз на день в течение многих лет звучавшую из громкоговорителей Освенцима.

— Leichenträger zur Wache, — промурлыкала она.
Красивый язык, правда?
Перевести?
«Трупоносы — к караульному помещению».
Вот это мне старуха и промурлыкала.

45: ЧЕРЕПАХА И ЗАЯЦ...

И вот я здесь, в Израиле, по своей доброй воле, хотя камера моя заперта на замок и стерегут меня вооруженные охранники.

Рассказал я о себе все и вовремя — ибо завтра начинается суд надо мной. Заяц истории опять обогнал черепаху искусства. Больше у меня не будет времени писать. Я должен снова пускаться в авантюры.

Против меня выступает множество свидетелей. За меня — ни одного.

Как мне сказали, обвинение планирует начать с прослушивания записей самых мерзких моих передач, чтобы самым безжалостным свидетелем выступил против себя я сам.

За свой собственный счет сюда прилетел Бернард О'Хэа и действует теперь на нервы обвинению своими не имеющими отношения к делу бреднями, кроме которых ничего сказать не может.

Всплыл и Хайнц Шилдкнехт, былой мой лучший друг и напарник по пинг-понгу, у которого я украл мотоцикл. По словам адвоката, Хайнц полон ко мне злобы и, как ни странно, его показания будут иметь вес. С чего вдруг такое доверие к Хайнцу? Разве не работал он бок о бок со мной в министерстве пропаганды и народного просвещения?

Вот сюрприз-то: Хайнц — еврей. Во время войны участник антинацистского подполья. После войны и по настоящее время — израильский агент.

Что и может доказать.

Молоток Хайнц!

Ни преподобный Лайонел Дж. Д. Джоунз, доктор богословия и медицины, ни Иона Потапов, он же Джордж Крафт, на процесс явиться не могут, поскольку отбывают срок в федеральной тюрьме. Однако оба прислали письменные показания.

Толку от них, мягко говоря, немного.

Джоунз показал под присягой, что я — святой мученик священного нацистского дела. И добавил, что такие безупречно арийские зубы, как у меня, видел лишь на фотопортретах Гитлера.

Крафт-Потапов показал под присягой, что русской разведке не удалось обнаружить никаких доказательств того, что я был ярым нацистом, но меня в любом случае не следовало бы привлекать к ответственности, поскольку в политическом смысле я — полный идиот, художник, не способный отличить реальность от вымысла.

Троица, взявшая меня под стражу в квартире Эпштейна — портной, часовщик и педиатр — тоже здесь, чтобы быть под рукой у суда в случае надобности, хотя они здесь еще больше ни при чем, чем Бернард О'Хэа.

Говард У. Кэмпбелл-младший, ваша жизнь висит на волоске!

Господин Элвин Добровиц, мой израильский защитник, попросил пересылать сюда всю мою нью-йоркскую почту в тщетной надежде обнаружить в ней хоть какое-нибудь доказательство моей невиновности.

Хай Хо!

Сегодня пришли три письма.

Сейчас я вскрою письма и изложу их содержание по порядку.

Надежда, говорят, неустанно бьется и груди человека. В груди Добровица — это уж точно, бьется, и еще как. Поэтому, видно, и берет так дорого.

По словам Добровица, мне достаточно лишь одного, чтобы выйти на свободу — малейшего факта, доказывающего существование Фрэнка Уиртанена и мою им вербовку в американскую разведку.

Ну, ладно, займемся сегодняшней почтой.

Первое письмо начинается вполне дружелюбно, обращаясь ко мне словами «Дорогой Друг», несмотря на все приписываемые мне ужасы. Авторы письма считают меня учителем. Я, кажется, объяснял уже в предыдущих главах, как мое имя очутилось в списках предполагаемых просветителей и как я стал адресатом рекламы различных материалов, необходимых тем, кто трудится на ниве воспитания молодежи.

Это письмо я получил от корпорации «Криэтив Плейсингс, Инк»^[11].

«Дорогой Друг (пишет мне корпорация „Криэтив Плейсингс“ сюда, в иерусалимскую тюрьму). Не хотели бы Вы способствовать созданию творческой обстановки в домах Ваших учеников? Ведь то, что происходит с ними после уроков, исключительно важно. В среднем ребенок проводит под Вашим попечительством 25 часов в неделю, но в течение 45 часов его наставляют родители. То, что делают родители на протяжении этих часов, может либо затруднить, либо облегчить проведение осуществляемой Вами программы.

Мы уверены, что предлагаемые нами игрушки действительно стимулируют — в домашних условиях — ту творческую атмосферу, какую Вы, наставник маленьких детей, стремитесь создать для них.

Как оке игрушки фирмы „Криэтив Плейсингс“

осуществляют эту задачу в домашних условиях?

Эти игрушки способны отвечать физическим потребностям роста детей. Эти игрушки способны помочь ребенку открывать новое и экспериментировать в жизни, окружающей его дома и в общине. Эти игрушки развивают способности самовыражения личности, которых может не хватить в коллективной жизни школы.

Эти игрушки помогают снимать у детей агрессивность...»

На это письмо я ответил так:

«Дорогие друзья! Будучи человеком, обширно экспериментировавшим над жизнью как дома, так и в общине, с использованием живых людей в достоверных жизненных ситуациях, я сомневаюсь, что какие бы то ни было игрушки способны подготовить ребенка к миллионной доле того, что обрушится на его голову, не спрашивая, готов он к тому или нет.

Лично я считаю, что ребенку следует начинать экспериментировать с реальными людьми и реальными общинами по возможности с момента рождения. К игрушкам же следует прибегать, коль скоро подобных материалов не окажется под рукой.

Но отнюдь не к тем миленьким, славненьким, мягоньким, податливым игрушкам, что предлагаете вы, друзья!

В детских игрушках не должно быть ничего гармоничного, иначе дети вырастут, рассчитывая на мир и порядок, а их сожрут живьем.

Что же до снятия у детей агрессивности, то я против этого. Вся агрессия, на какую они только способны, еще как потребуется им для решающего выброса в мире взрослых. Назовите хоть одну великую историческую личность, кто не бурлил и не бесился в детстве, отпустив тормоза.

Позвольте вам заметить, что дети, вверенные мне на двадцать пять часов в неделю, никоим образом не оупеют за сорок пять часов общения с родителями. Поверьте мне, в это время они заняты отнюдь не тем, чтобы то грузить, то разгружать Ноев Ковчег разными фигурками. Нет, все это время они шпионят за настоящими живыми взрослыми, выясняя,

почему те ссорятся, чего алкают, как удовлетворяют свою алчность, как лгут, что сводит их с ума, как всяк сходит с ума по-своему и все такое.

Не могу предсказать, в каких именно областях преуспеют эти мои детки, но всем им без исключения гарантирую успех в любом конце цивилизованного мира.

Ваш соратник в борьбе за дело реалистической педагогики,

Говард У. Кэмпбелл-младший».

А второе письмо?

Оно тоже обращалось к Говарду У. Кэмпбеллу-младшему, как к «Дорогому Другу», доказывая, что двое, по крайней мере, из трех сегодняшних корреспондентов никакого зла на Говарда У. Кэмпбелла младшего не держали. Письмо было от биржевого маклера из Торонто, Канада, и апеллировало к капиталистической стороне моей натуры.

Мне предлагали купить акции вольфрамового рудника в Манитобе. Но сначала надо разузнать побольше о компании. Главное — выяснить, обладает ли она достаточно авторитетным и компетентным руководством.

Я же не вчера на свет родился.

А третье письмо? Третье пришло прямо сюда, на мой тюремный адрес. Н-да, это письмецо занятное. Его следует здесь привести целиком:

Дорогой Говард!

Устои дисциплины, в которой я прожил жизнь, рухнули, словно легендарные стены Иерихона. Кто здесь Иисус Навин и что пропели трубы? Бог весть. Музыка, так сокрушившая такие старые стены, звучала отнюдь не громко. Слабый такой, рассеянный, странный звук.

Может, это во мне заговорила совесть? Сомнительно — ведь я тебе ничего дурного не сделал.

Пожалуй, просто сказался зуд старого солдата к хоть и пустяшной, но измене. Изменой мое письмо и является.

Настоящим я нарушаю непосредственный и недвусмысленный приказ, отданный мне в наилучших интересах Соединенных Штатов Америки. Сообщаю свое настоящее имя и удостоверяю, что и был человеком, известным тебе под именем

«Фрэнка Уиртанена».

Мое настоящее имя — Гарольд Дж. Спэрроу.

Я вышел в отставку из армии Соединенных Штатов в звании полковника.

Мой личный номер — О-61134.

Я существую. Меня можно видеть, слышать и осязать чуть ли не ежедневно в единственном человеческом жилище или подле него на берегу Коггин, в шести милях от Хинкливилля, штат Мэн.

Я подтверждаю, и готов подтвердить под присягой, что завербовал тебя на службу в американскую разведку. И что ты, ценою беспредельного самопожертвования, стал одним из самых эффективных разведчиков периода второй мировой войны.

И если уж Говарду У. Кэмпбеллу выпало предстать перед судом ханжествующего национализма, еще посмотрим, черт побери, кто кого!

Искренне твой, «Фрэнк».

Итак, я снова окажусь свободен и волен отправляться, куда угодно.

От такой перспективы меня тошнит.

Сдается мне, что сегодня ночью я повешу Говарда У. Кэмпбелла-младшего за преступления против самого себя.

Я знаю, что повешу его сегодня.

Говорят, когда человека вешают, ему слышится волшебная музыка. Жаль, что я в отца, а не в мою музыкальную маму — мне медведь на ухо наступил.

Но все равно надеюсь, что услышу что-нибудь иное, а не «Белое Рождество» Бинга Кросби.

Прощай, жестокий мир!





notes

Примечания

Переводчик позволил себе вольность заменить перевод Карлайля Ф. Макинтайра более нам привычным переводом с немецкого Б. Л. Пастернака: М., Художественная литература, 1957, с. 93.

Штыб — самый мелкий каменный уголь, с размером частиц не более 6 мм (*прим. верстальщика*).

«Инфантри» (*англ.*) — «Пехота».

«Лиджн мэгэзин» (*англ.*) — «Журнал легиона»

Член Миссионерского общества св. апостола Павла, основанного в 1858 г. в Нью-Йорке священниками католической церкви.

6

Вареная колбаса (нем.).

Валун в замке Бларни близ Корка, Ирландия. По преданию, поцеловавший камень наделяется даром красноречивой лести.

Максфилд Пэрриш (1870–1966) — американский художник и иллюстратор.

Эдгар Гест (1881–1959) — американский версификатор *а* журналист.

Остров в Тихом океане, где в 1945 г. шли ожесточенные бои с японцами.

«Творческие игрушки» (*англ.*).